

Вещь

2(32)/2025

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Проза

Владимир Бекмеметьев

Поэзия

Николай Звягинцев

Переводы

Джон Эшбери

Барбара Гест



Вещь

2(32)/2025

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

18+



- 3**Сергей Крюков** *Поэт Пунцов (рассказ)*
- 6**Николай Звягинцев** *реки ефрон и брокгауз (стихи)*
- 9**Виталий Аширов** *Археоптерикс (рассказ)*
- 25**Кирилл Шубин** *Времена года (стихи)*
- 30**Даниил Буланкин** *Бабушка (рассказ)*
- 33**Антон Васецкий** *Альпинистка (стихи)*
- 37**Владимир Бекметьев** *Новые Тартарары, или провалы в памяти (повесть-сказка)*
- 59**Барбара Гест, Джон Эшбери** *Касание потустороннего (переводы с английского Александра Фролова)*
- 71**Любовь Соколова** *Воспитание кота, или Последний день Помпеи (рассказ)*
- 75**Павел Автоменко-Прайс** *Для камер видеонаблюдения (стихи)*
- 80**Евгения Гордина** *Пещера Мэскэн (рассказ)*
- 88**Сергей Крюков** *Дядюшка Смог (памяти Антона Колобянина)*
- 92**Мария Гресева** *Где закончились твои небесные дни? (эссе)*
- 95**@Киршин** *Сколько было звёзд (мемуары)*
- 108**Дарья Кричфалушая, Мария Лумпова** *«Уйти за горизонт базовой грусти» (диалог о феномене видеопоззии)*
- 118**Владимир Кочнев, Ирина Кадочникова** *Постмодернистский зверинец; Вытеснение детства; Вселенское и родное (рецензии на книги стихов Бориса Эренбурга, Евгения Ощепкова и Юрия Казарина)*
- 124**Авторы номера**

Сергей Крюков

Поэт Пунцов



Плывём... Куда ж нам плыть?

А. С. Пушкин

Марья Петровна зашла в класс и фальшиво-грозным взглядом окинула пятиклассников:

— Нуте-с, и кто из нас выучил отрывок из стихотворения «Осень» Александра Сергеевича Пушкина?

— Какого ещё Сергеича, — загалдели ребята, — вы же нам Пунцова задавали!

— Пунцова? — встревоженно переспросила педагог и уже не с грозным, а обескураженным видом замерла за учительским столом: напротив, на задней стене класса, где висели портреты классиков русской литературы, Марья Петровна увидела совершенно незнакомые ей лица.

— А.С. Пунцов, — потрясенно произнесла, а скорее вполголоса пробормотала Марья Петровна подпись под центральным портретом.

— Арнольд Серафимович Пунцов, стихотворение «Весенний полдень», — протараторила со своего места бессменная зубрилка 5-го «Ш» Соня Куедихина, — вы задавали выучить наизусть, я готова!

И тут учительницу озарило.

— Это что, какой-то дурацкий розыгрыш? — воскликнула она, но тут же осеклась: в кабинет вошла завуч Степанида Витольдовна Хвобыстова, а этот визит никаких розыгрышей не обещал.

— После уроков не расходимся! Все в актовом зале на ежегодные межшкольные пунцовские чтения! Кто не придёт, пеняйте на себя, пощады не будет!

Степанида Витольдовна брезгливо уставилась на Марию Петровну. Окинув учительницу с ног до головы испепеляющим взглядом, она процедила:

– Вы почему наш мерч игнорируете? Ещё раз такое повторится, никаких стимулирующих не увидите!

С этими словами завуч быстро сунула педагогу в руки небольшой сверток и вышла, громко хлопнув дверью, отчего портреты на задней стенке немножко закачались.

– Наденьте, наденьте, Мария Петровна, – загалдела ребятня, – иначе вас в автобус не пустят!

– Какой ещё автобус? – ошеломлённо спросила учительница и развернула свёрток. В её руках была футболка с точно таким же лицом, как на школьной стене напротив её учительского стола.

«Для детей и для отцов есть один пример – Пунцов!» – гласила надпись на футболке.

Марья Петровна охнула, медленно опустилась на стул и со словами «Я сплю?» потеряла сознание.

* * *

Марья Петровна, стремительно чеканя шаг, неслась по коридору, но мысленно она бежала по направлению к библиотеке. В её голове вертелась дурацкая фраза: «Мы должны выйти на новый уровень рифмования в плане стихосложения».

Дверь книгохранилища противно шоркнула электронными рольставнями. Педагог библиотеки, Ираида Мафусаиловна, резко выглянула из-за внушительной стопки учебников, громоздящихся на стойке выдачи изданий: «Не двигайтесь, стойте где стояли!»

Учительница остановилась как вкопанная и машинально натянула поверх постиранной тысячу раз белой блузы с оборками новую, пахнущую краской футболку с портретом поэта Пунцова.

– Подойдите! – рявкнула Ираида Мафусаиловна.

Марья Петровна, нервно чертыхаясь и подволакивая левую ногу (чего раньше с ней

не случалось), но тем не менее бодро подошла к выдавальщице учебников.

– «Дубровского» дайте, пожалуйста, с хрестоматией, – попросила она, и сердце её почему-то подозрительно ёкнуло.

– Вы, наверное, имеете в виду «Судьбу Шпинаева, благородного мстителя и мыследя»? – спросила или скорее подсказала, глядя исподлобья, Ираида Мафусаиловна.

– Да-да, именно дайте, пожалуйста, мне ветродуя, – почему-то смутившись, поддакнула учительница.

Мыследуя, – поправила библиотекарша и швырнула на стойку потрёпанную книжицу в мягком переплёте. На обложке красовался лохматый, похожий на мушкетёра человек с пугачом, выглядывающий из тарантаса.

– Вот тут распишитесь.

Марья Петровна поставила свою закорючку и протянула руку к «Благородному мстителю». Из-под обложки торчал краешек мягкого тетрадного листа в клеточку. Учительница вытянула бумажку. «Про А. С. забудьте», – гласила надпись корявыми печатными буквами. Ираида Мафусаиловна, поймав насторожённый взгляд Марьи Петровны, едва заметно кивнула: «Идите, идите, вас ждут в актовом зале».

В актовом зале царил оживлённая и торжественная атмосфера. Марья Петровна, опираясь на спинки кресел, задевая бесчисленные колени, прошла в центр собрания и опустилась на сиденье, обтянутое синим искусственным бархатом. На сцене в парадном облачении стояло всё руководство школы и зубрилка из 5-го «Ш».

*Шумит весенний полдень
В цветастом хороводе,
Соседскую ладонь крепче сожми!
О чём воркует голубь?
О том, что шире прорубь
И что зазеленеют скоро пни!*

Глаза Марьи Петровны встретились со злорадным, пристальным взглядом Степаниды Витольдовны. Ее губы беззвучно шевелились как бы в тон строчкам поэта Пунцова, которые читала наизусть пятиклассница. Учительница

решительно отбросила книжку с фальшивым мушкетёром на обложке, резко встала и привычным уничижительным, менторским тоном произнесла:

– Нет, я не это задавала! Будь любезна, голубушка, Пушкина «Осень»!

В зале повисла гробовая тишина. Все озадаченно и удивлённо смотрели на Марию Петровну.

«Это какой-то дурацкий розыгрыш», – опять подумала она, привычным движением поправила причёску, сделанную ещё в прошлом учебном году, и стала проталкиваться к выходу. Перед шторкой, отделяющей пространство актового зала от коридора, учительница оглянулась, посмотрела на сцену, где так же чинно в ряд стояла школьная администрация, и торжествующим тоном выкрикнула:

– А зарплату всё-таки неплохо было бы и прибавить!

Быстрым шагом Мария Петровна миновала школьный двор, добралась до остановки транспорта и села в первый же приехавший электробус. Там учительница увидела свободное место, с облегчением вздохнула и протянула руку с картой к валидатору для оплаты проезда.

– Сегодня же день рождения Пунцова. Проезд бесплатный! – насмешливо и в то же время как-то по-доброму, по-отечески промолвил один из пассажиров.

Мария Петровна вздрогнула, спрятала банковскую карточку в кошелек, села на заветное свободное место и подумала: «Ну и пёс с ним, поедем бесплатно. Только вот куда?»

В автобусе Мария Петровна задремала и очнулась от того, что кто-то легонько трогает

её за плечо. Оказалось, что она в своем родном кабинете, а рядом с ней стоял закоренелый двоечник Стёпа Маврикин, по привычке тянувший шею в сторону сидевшей на первой парте отличницы Маши Рюмцевой. Даже с учительского места было хорошо видно стихотворение Александра Сергеевича Пушкина в учебнике литературы. Рюмцева сочувствовала Маврикину и всегда раскрывала книгу на нужной странице.

– Ну, Майя Петровна, я выучил стихотворение. Вот послушайте: «Октябрь уж наступил...»

«Так это был сон», – с облегчением подумала учительница, по привычке сурово взглянула на косящего в сторону Рюмцевой двоечника, но по её щеке невольно скатилась слеза. Внезапно на краткий миг Марье Петровне показалось, что перед ней стоит не хулиган Стёпа, а пламенный певец русской словесности сам Александр Сергеевич.

– Садись, Маврикин, пять, – сказала Мария Петровна дрогнувшим голосом.

Всю ночь накануне она составляла отчёты, заполняла электронные дневники, проверяла тесты, и когда утром пришла в класс, валилась с ног от усталости. Сейчас же Марье Петровне уже спать не хотелось. Пунцов, заменивший Пушкина, оказался всего лишь сонным наваждением. Она смахнула слезу, откинулась на спинку стула и спокойно, с наслаждением, словно бы заново переживая рождение стиха, стала читать:

*И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русской холод;
К привычкам бытия вновь чувствую*

любовь:

*Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят – я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн...*

Николай Звягинцев

реки ефрон и брокгауз



Цезарь с курицей

На тебе пешеходная соль.
 Ты хотела бы столик
 На Сатурне, на третьем кольце,
 На часах, на стене, на вокзале.
 Там на всём паутина,
 Рисунок железной дороги,
 Водомерка с подносом
 Бежит и боится её.
 И на всех островах,
 На деревьях с кусочками почвы,
 Одинаковый почерк
 Знакомой приливной волны.
 Это просто пустая солонка,
 А ты всё никак не уедешь,
 Остываешь,
 Боишься в окно посмотреть,

Говоришь своему фонарю:
 «Мы совсем не знакомы,
 Зачем вы бежите за мной»
 Сколько мира и города
 С вилками в каждом вагоне.
 Все на свете возможные запахи,
 Скоро ваш выход.

Кристине нужен инстаграм.
 Теряем небо, вытворяем.
 Поедем в город Никодим,
 Внутри него табачный дым
 Локаций славных, сладких сот
 Всего, что море принесёт:
 Спешит старушка, спит мужик,

Мешок с Австралией лежит,
Июнь-июль с зелёным дном,
Подружки тонкие на нём.

В Минске где самое мимо
Там две балерины
Куда-то девают весёлые ноги
Кончатся ступни и сразу камень
В конце земли начинается небо
Так я на прошлой неделе в Риме
Видел церковного Караваджо
Стоял и смотрел на ноги Матфея
Они находились на дне картины
На уровне глаз как не видят люди
Им надо для этого лечь на землю
Сделаться кошками а не людьми
Так вот там я и другие кошки
Лежали и пялились на Матфея
Деньги бросай говорили кошки
Бросай туда где кончается небо

Медвежонок спрашивает у мамы
Мама что у тебя за машина
Слово такое сначала буль
Может бульвар
Может бульон
Может бульдог но это не он
Бульон не бульон
Бульдог не бульдог
Сынок успокойся это бульдозер

Мама я буду бульдозеристом
Когда я вырасту и проснусь

Мой медвежонок мы здесь одни
А в небе столько всякой фигни
Звёзды космические корабли
Столько разных и круглых денег
В этом фонтане над головой
Их те кто умеет летать
Бросают чтобы вернуться

Вечером мы с тобой
Быстро всё соберём

Есть же ковшик зачем руками

Есть такой циркуль называется балеринка
Ходит по Рождественке прямо и вниз
А эта девушка с ластиком на шее
Стала прозрачнее на сорок лет
Ватман ватман кохинор голова
Скажи ты уехала или умерла
Это мы встречались не так давно
Те кто со мной поступал в МАрХИ
Люди напоминающие лес колонн
И каждый стоит со своей пустотой
Я никогда не любил возвращаться
Только теперь доподлинно знаю
Чтобы обнять дорическую колонну
Нужно четыре дорических человека
С круглыми шапками капителей
Ступенями в небо и пальцами в глине
С желобками для стока крови
На мраморном теле
Это пластинки моей пора
Параболы парусника параллели
Дорожек человеческого винила
Вот они четверо на каждую колонну
Курят поддатые и пожилые
В скверике перед домом архитектора
Под бюстом Щусева
И я вот этого не прощу себе

я знаю музыка это зима
вот она выглянула из меня
с кожей белой как молоко
со взглядом офисного зверька
с короной вокруг головы

счастье когда половина мира
альт от скрипки не отличает
в церкви бегают по своим

христианнейшим королям
пока она вечером через парк
вся такая тук тук вот так
на всю длину поводок

бывает спичечная вода
только в спичечном коробке
скажи скорее какой вагон
с какой стороны стекла

из всех работ
любимая та
когда кричат тебе где же ты
а ты минуточку я сейчас

ах эта белочка всех ловчей
а все бельчаточки вскачь за ней
ах он сидит на мешке с шерстью
а ты бежишь по морскому дну

по-разному плачется разный лук
разные окна для разных лент
разные очки для одной головы
разные бокалы для разной вины

девушка тащит когтями штору
целуются линии на обоях
лесные звери считают кожу
несут цветы домашние звери

чтобы только выйти на сушу
там где встретят тебя на склоне
целое поле аптечной ромашки
жених невеста фотограф небо

всё
пока ты спешишь с подносом

реки ефрон и брокгауз
так близко друг к другу
ножа не просунуть
откуда здесь целая троя
и целые стены на ней
дальше будет по списку
морей кораблей брадобрей
и непарных зверей
ах вы буквы мои
узкоплечные
слишком тесно для рыб
и улит

Виталий Аширов

Археоптерикс



Часть первая

1

После обеда Сергей Петрович Петраков находился в отличном расположении духа, ничто его не беспокоило впервые за целый месяц, проведенный в этом душном и пыльным, порой и тоскливом учебном заведении, называемом (как самодовольно гласила табличка над входом) не просто полупрезрительно интернатом для дураков, но с благородной патиной — пансионом для особенных детей, куда его пристроила престарелая мать два года назад в качестве презента — а может быть даже завещания, ведь скончалась матушка через неделю после того, как Сергей Петрович нацепил костюм охранника и, кидая пронзительные взоры, прохаживался

по скрипучим коридорам, где нет-нет да и прыснет мышь или брызнет стайка бешеных насельников.

В обязанности Сергея Петровича входило, в сущности, ничего. Нина Андреевна, директриса, говорила: будь опорой, вселяй уверенность, коли надо — устрашай. Подчас он становился свидетелем детских ссор, когда очумелые мальчишки (лица женского пола в заведении не водились — таково было неукоснительное правило) с яростным, почти девическим визгом (или с шумным зловещим сопением) возились в теневых участках небольшой площади, которую требовалось патрулировать Сергею Петровичу как заправскому солдату — на чердачных лестницах, или под нижней полуобрушенной, в дальнем конце, где пустовали всегда (как в тёмных сказках про Синюю бороду) несколько комнат

(строители вот-вот обещали подъехать, но то закачивался цемент, то случались перебои со светом или просто перепои).

Иногда позволял себе флиртовать (было ему двадцать три, и он оттачивал, чаще всего в уме, этот полезный инструментарий) с толстоногой сорокалетней нянечкой, которая от прочих отличалась нравом спокойным и могла угрюмо оттолкнуться или вставить в его угрюмые же лепости два-три конфузливых смешочка, подавая ему несбыточную (как всегда оказывалось) надежду на быструю схватку где-нибудь в подвале среди мешков с припасами, как получилось однажды на его предыдущем месте работы — о чем он вспоминать не любил, ни тот большой магазин, где все было автоматизировано и стояли вместо касс важные одноглазые будки, и непрерывной поток всегда недовольных чем-то людей, каждый из которых был потенциальным воришкой, ибо штрафы брались из ниоткуда и выгрызали приличный кусок зарплаты, ни одышливую повариху с запахом дыни, скрывающимся в складках ее запачканного красным халата (потом он узнал, что застарелая, давно впитавшаяся кровь начинает пахнуть дыней), ни великолепную начальницу с замашками военного генерала.

Мысли о прежней жизни вызывали у него ощущение, родственное зудению давно развалившегося зуба, и он, прохаживаясь по окрестностям, концентрировался на толстоногой нянечке, на каких-то невнятных, подозрительно сдавленных смешках из общей игровой комнаты, на брюзгливой морде директорского бульдога, который имел неприятную привычку возникать из ниоткуда в любом, казалось бы, труднодоступном для собаки месте, и тут же скалить зубы.

По характеру Сергей Петрович был абсолютнейший флегматик, и если бы жизнь сложилась как-то иначе, если бы более дальновидная мать пристроила его заведующим складом, он бы только и делал, что спал, вяло интересуясь тем, что совершается вокруг. Сейчас же к его природному флегматизму подмешивался явственный душок холеричности, да порой он, сам того не осознавая, проваливался в бездны меланхолии, посему трактовать

наверняка о том, каким был в точности темперамент молодого охранника, можно лишь с толикой известной осторожности.

Последнее время, впрочем, доминировал холерик — Сергей Петрович никак не мог выспаться в тесной, пыльной каморке под крышей, куда его временно определила директриса, периодически с приторными интонациями фальшивой искренности намекая на более удобную постельку в одной из вот-вот отремонтированных палат на нижнем этаже.

Донимали клопы, с удивительной синхронностью выползая в одно и то же время и покушаясь на одно и то же место, сиречь его худосочную шею. Нервировал слабоумный мальчик, проживавший прямо под ним и по ночам устраивавший концерты из воплей, топанья и лязганья, при этом никакие угрозы (применять к воспитанникам физическую силу было строжайше запрещено) не способствовали успокоению буйного ребенка, а наоборот, лишь усиливали его децибелный потенциал.

Пуще всего томила неопределенность грядущей жизни. Договор с заведением кончался через год, волей-неволей приходилось утруждать себя мыслями о том, куда податься. Мнились необыкновенные золотые горы и райские кущи, что-то невнятное, руководящее, залитые ярким светом кабинеты, и он, погруженный уже в счастливые думки, механически черкал каллиграфичные подписи на документах первейшей нужности, покамест, истлевая в яркости полуденного солнца, совсем вдалеке сквозь анфиладу комнат призывно улыбалась моделистая и скуластая секретарша, отобранная лично им из череды призрачных, податливых, легких, почти прозрачных тел соискательниц...

Потом картинка тускнела и обращалась в полную свою противоположность, поздняя осень, спящий на лавочке кошмарный клошар, здесь же остатки тривиального обедца: плесневелая булка, опрокинутая бутылка.

Лишние волнения приводили к тому, что Сергей Петрович подчас чувствовал себя одним из детишек интерната, испытывая сильную потребность крикнуть или прижать-

ся к какой-нибудь бродячей или полубродячей кисе. Последние в изобилии водились у старухи, проживавшей, видимо, поблизости, неопрятной, с матерчатой сумкой, куда она жадно швыряла лакомые куски съестного, находимые на местных свалках. Так, по всяком случае, чудилось охраннику; в действительности, конечно, никаких старух быть не могло — жилые районы начинались километров через тридцать, и между ними и, в принципе элитарным, сим заведением тянулся густой ельник, плавно перетекавший в строительный комбинат, заброшенный настолько, что дикие белки не чурались скакать по гнилым балкам, разбросанным там и сям, а ржавые станки заросли чахлым кустарником.

Сам Сергей Петрович не раз в позднем отрочестве с приятелями прятался в недрах комбината (единственный, сохранившийся даже до сей поры, деревянный цех хранил в себе неизрасходованные запасы эха и страха), но после одного происшествия (о нем умолчим) спустя десяток лет и думать не мог о том, чтобы повернуть голову в сторону завода, когда проезжал мимо на вечно битком набитом автобусе.

2

Если бы его спросили, что ему подняло настроение в тот летний, но пустой, бессолнечный денек, он скорее всего надолго задумался бы и, к собственному недоумению, не нашел ничего выдающегося в памяти, кроме незначительных событий, не складывавшихся ни во что мало-мальски приятственное.

Встал он в одиннадцать, необыкновенно бодрый, ибо видел одно из тех редких и оттого чаемых сновидений, когда иллюзия становится крайне четкой и будто бы даже осязаемой, так что проживаешь ее словно реальность, и хотя внутри проходят секунды, они мнутся долгими часами каких-то напряженных и опасных злоключений, имеющих строго выстроенный сюжет, проснувшись же понимаешь, что и сюжета не было, и у той баснословной радости, которая будто цунами заликает тебя всего, нет рационального объяснения.

В столовой, где обычно питались насельники, у персонала имелся чуть поодаль от тесно сдвинутых детских столиков собственный мебельный островок, и там волей-неволей ему приходилось встречаться взглядами с различными, подчас (и по преимуществу) неприятными персонажами, включая двух малохольных старух с одинаково бледными и одинаково вытянутыми лицами. Они отличались задиристым нравом и жили здесь по праву дальних родственниц директрисы, ничего полезного не совершая, лишь бесцельно слоняясь по коридорам и по всякому поводу шпыняя бедных мальчишек.

Доставалось и Сергею Петровичу. Подслеповатые бабушки периодически путали охранника с хулиганом из старшей группы Андрюшкой Пушкой, долговязым подростком, перевалившим за восемнадцать и содержащимся здесь из жалости к его плаксивой маменьке.

Сергей Петрович постоянно наблюдал, как в заведении — да и не только в нем, а всюду, где он работал и учился, — кумовство играло значительную роль. Сие обстоятельство нимало его не огорчало, он давно примирился с устройством реальности, с удовольствием отмечая мелкие неприглядные пунктики серенького нашего бытия и из каждого заковыристого на первый взгляд дела вынимая простейшие элементы, А и Б, альфу и омегу, и сам с тайным трепетом ожидал, когда наступит его время кланяться N., одаривать R., ссылаться на K. (сановитого прапрадеда).

После шумливого обеда детей отправили на прогулку. В коридорах, которые он неустанно патрулировал, установилась относительная тишина, и тут он вдруг осознал, чем вызван прилив неясной радости — перестала скрипеть половица между третьей и четвертой палатой.

Сергей Петрович застыл на месте, носком кроссовки ощупывая подгнившую доску — осталась такой же, с той же выщербинкой и родимым пятном сучка. Вряд ли ночью являлся плотник (суетливый мужчина с кривовато подшитой заячьей губой) со своими подручными инструментами, ибо еще вчера, налкавшись в зюю, вытребовал выходной и убрел к сестре в близлежащую деревню.

Он снова надавил на доску, притопнул по ней, посвистывая (руки в карманах) отошел в сторону, как бы давая время скрипучему характеру древесины проявиться в полной мере, и вдруг чеканным шагом прошествовал прямо по ней, нарочно глубоко надавливая пяткой, — безрезультатно.

Раззадоренный неудачей, вернулся к половине и решил выяснить причины исчезновения скрипа. Пока он представлял, как шумящее местечко (влажная внутренняя область наподобие рыхлого стейка из свиной рульки, — голодное после скромного перекуса воображение выдавало жирные гастрономические рулады) медленно восстанавливается до первоначального девственного состояния, каким-то образом ощутил спиной (прежде он не знал, что такое возможно), что на него пристально смотрят, и когда обернулся, его охватило хорошо знакомое с юности чувство тревоги.

Это была девочка лет пяти, в голубом и легком не по погоде платьице, с двумя ярко-красными бантами в блестяще черных волосах. Он знал, что девчонок тут не бывает, и в первую секунду подумал, что кто-то из слабоумных захотел столь коряво восполнить отсутствие прекрасного пола, — тут же отгнал эту мысль — и с облегчением услышал недовольный мужской голос, вероятно отца, который требовал, чтобы «Люда сейчас же спускалась», ибо «опаздываем на автобус», и знакомый ему Василек (безобидный урод, обитавший здесь годы), возникнув из закрытой только что палаты, потянул девочку за рукав, как бы возвращая к реальности из ее гипнотической сосредоточенности на спине охранника в голубой униформе с золотистыми нашивками (они-то и привлекли ее) — были и скрещенные мечи (старинный символ защиты), и круглая башня (Сергей Петрович не был уверен в том, что у нее имеется хоть какой-то смысл, но и сам порой любовался ею, трогая эту выпуклую фигурку на обшлаге), и значок оленя под аляповатой надписью толстыми шелковыми нитками «Барс» — так называлось охранное агентство, откуда рачительное начальство в незапамятные времена закупило ненужную там униформу (или

остатки оной). Странное несоответствие изображения и слова не было толком объяснено. Никогда не страдавший особенным любопытством, Сергей Петрович довольствовался отговоркой завхоза, который, выдавая куртку, пафосно сказал: «в тех краях олени именно так и выглядели», и тут же зашелся смехом.

Не удостоенный более и толикой внимания маленькой гостью заведения, которая, как выяснилось позже, была вполне сносно вылепленной сестрой уroda, охранник вернулся к безмолвной половине и несколько мгновений размышлял над отдельными техническими аспектами формирования скрипа.

3

Тишина тем временем охватила опустевший дом. Вернее, опустел только детский этаж (и прекращение привычного звона и гомона было равносильно затуханию всех звуков), в остальных же, как и всегда, продолжалась угрюмая и тихая жизнь — что-то скребли плотники, вполголоса болтали кухарки — но до Сергея Петровича доносились лишь разрозненные слоги скороговоркой произнесенных слов — «ка», «бли», «гу», «ра», «ол», иногда выстраиваясь в полноценные хотя и не совсем разборчивые слова — гураол, гаурыл, гараул, караул, и он, механически (и сам плохо сознавая — почему) их повторяя, еще ниже склонился над доской.

Чего же я добиваюсь, завозилась раздраженная мысль, хочу вернуть скрип? Нет, не хотел. Тут он понял, отчего пропал назойливый звук — половина слегка выпирала, будто изнутри ее толкал схороненный там предмет. Выпирала она буквально на пару миллиметров. С первого взгляда было сложно уловить едва заметное изменение в структуре пола, и он пожалел, что не взял с собой лупу.

У него обычно в нагрудном кармане имела добротная армейская лупа с запыленным внутренним стеклом и пухлой ручкой в виде языка колокольчика — осталась от отца, после его нелепой и страшной, как стало ясно позднее, а тогда она мнилась смешной — сортом игры в волапук — пропажи без вести; как полагали, укатил с любовницей в Но-

рильск, увы, он просто не дошел до остановки, где в меховом манто стояла злая пассия, сраженный сердечным припадком, одним из его, как он иронически говаривал, «вечных и совершенно безобидных спутников»; опознали спустя два месяца.

Намедни, словно хулиганистое дитяtko, охранник поджигал бересту возле сарая, и там же под бревно положил лупу, намереваясь вернуться через час, но и спустя день, нежданно обленясь (виной всему была погода), не хаживал к огненному аттракциону.

Жалея, что не может пристально рассмотреть изогнутые текстуры волоконца, Сергей Петрович провел пальцами по гладкой доске с там и сям ободранной краской, и нежданно легко вынул ее, будто она была вставлена как фрагмент пазла в однообразную абстрактную панораму недавно вымытого и посему блестящего пола. Еще не взглядевшись в то, что лежало под ней, охранник ощутил укол давешнего страха, когда же увидел фрагмент скелета — то, что меньше всего ожидаешь найти в этом месте, — тревога парадоксальным образом развеялась.

Сперва он подумал, что это останки какого-нибудь мертворожденного или невинноубиенного младенца, так как прежде, до того как директриса выкупила это здание и обставила его по собственному (надо сказать, отнюдь не изящному) вкусу, здесь располагался типичный коммунальный дом с десятком-другим хабалистых семейств, проживавших в тесном соседстве, и запросто могли произойти события с криминальным душком.

И вот тогда Сергей Петрович заметил порядком надломленный клюв и с неожиданной радостью осознал, что скелет принадлежит какой-то, по-видимому крупной, птице. С такой же легкостью, как и первая доска, вынулись соседние, обнажая уже в полный рост огромный птичий скелет. Таких птиц охранник не встречал никогда. Больше всего удивлял клюв, сплюснутый, будто пасть рептилии.

Сергей Петрович растерянно встал, сделал несколько шагов назад, как художник, озирающий только что законченную картину, дабы удостовериться, что композиционная гармония идеально выверена, и понял,

почему испытывает стойкое дежа вю — эту птицу именно в таком распяленном положении, с едва угадывающимися косточками крыльев, расположенными рваным зигзагом, он встречал, и не раз, поскольку учеником был нерадивым и эта тема особенно ему не давалась, — в учебнике биологии за шестой класс. Подпись к черно-белому рисунку гласила «археоптерикс», и он поставил бы что угодно, зуб, зоб, зыбь любовного томления, что никогда в жизни с подобным ископаемым существом не встретится.

Скелет лежал в точности как в учебнике, словно художник-provokator соорудил подпольную (в буквальном смысле слова) инсталляцию ради того, чтобы или эффектным способом поразить Сергея Петровича, или вернуть ему воспоминания унылых лет давно позабытого отрочества.

Кроме «археоптерикса» и еще пары дикивинок навроде кистеперой рыбы и многососкового человека, изображение которого, увиденное единожды в той же злосчастной книге по биологии, повторялось в мутных, подернутых уже и вовсе воском забвения, снах, — ничего не осталось от той школьной поры, и — что самое поразительное — он забыл лица одноклассников, объясняя это, впрочем, тем, что в процессе спорого, будто в какой-то лихорадке, переезда из глухомани в город на излете его двенадцатилетия, была оставлена на дальней полке серванта память.

Слово «археоптерикс» крошилось куском слоеной породы. Раза с надцатого удалось недорослю его прочитывать, сначала по буквам, ибо вобрать весь этот пышный пир суховатых согласных одним махом не вышло, потом по слогам, и вот пока вокруг и далеко ввне классной комнаты бесновались дети, Серый (как называла его парочка приближенных) замороженно повторял научное название вымершей птицы, вскоре наловчившись выворачивать его наоборот и складывать в другие осмысленные слова — скипетр, паркет, с восторгом замечая, что и скипетр, и паркет приобретают, но совсем легкие, птичьи черты — там перышко, здесь круглый, немигающий глаз.

Первое побуждение — бежать к директрисе с рассказом об орнитологической находке. Он был уверен, что смысл скелета объяснится за считанные мгновения каким-то незначительным нововведением или еще чем-то, о чем поведаст Нина Андреевна, отечески хлопая его по плечу — дескать, пустячок, вылетело из головы, — муляж, веселая игра. Однако в том случае, если это не муляж, он мог и схлопотать за то, что плохо выполнил свои обязанности неусыпного, так сказать, стража, допустив провокатора в нежные недра заведения (археоптерикса можно назвать и откровенной диверсией, учитывая, какой в скелете таится неприятный намек на то, что подопечных детишек неважно кормят).

Когда он слегка потянул за крыло, скелет сразу и целиком отошел от пола и очутился в его руках. Охранник стремглав помчался вниз по лестнице, которая вела к спальне Нины Андреевны, бывшей по совместительству ее рабочим кабинетом (это странное сочетание личного и профессионального она чересчур часто оправдывала удобством, хотя даже проверяющие органы мало интересовались теми или иными аспектами частной жизни директрисы, так что могла и не заострять на сем внимание, но, видимо, ей нужно было периодически чувствовать себя виноватой — на железную леди она не походила).

Дверь была приоткрыта, и еще не дойдя до нее, Сергей Петрович услышал, как он мог позднее поклясться, не меньше трех голосов, говоривших в унисон, когда же, удивленный тем, что в неприятный день явились непрошенные гости, просунул голову в щель, то никого не заметил.

Несмотря на прохладную, тусклую погоду, в комнату проникли солнечные лучи, играли в стеклах серванта, сияли на столешнице, усыпанной шелухой от семечек, и пока Сергей Петрович, все еще ожидая, что Нина Андреевна вот-вот выйдет из-за какой-нибудь малозаметной занавеси или, как нередко бывало, баском заговорит из дальнего угла, где она, нагнувшись в пепельно-сером платье так, что цветочные узоры на нем отчасти сли-

вались с донельзя банальным орнаментом обоев, перебирает свежeweыстиранное белье, осторожно крался по спальне. Глаза пришлось сощурить, чтобы они привыкли к яркому свету.

В этой комнате он часто бывал только в первые дни в интернате, когда инструктаж, проведенный довольно обстоятельно, не помог ему в полной мере, он путался в простейших вещах, и директриса в конце рабочего дня вызывала его на ковер (хотя сложно назвать ковром линолеум, уложенный еще и в два слоя; она часто жаловалась на то, что ноги зябнут даже в летние месяцы, но ковер постелить не решалась, опасаясь, что вернется изводящая ее в молодости аллергия) и пропесочивала, всегда начиная с того, какой замечательной женщиной была его мать и каким неблагодарным и неумным получился сын.

Сергей Петрович не встречал в ее страннeе монологи, меж тем как Нина Андреевна, видимо, надеялась, что нерасторопный охранник станет перебивать и вот тогда с чистой совестью (в каких отношениях они находились с матерью, до сих пор было неясно) уволит его и наймет кого-нибудь посметливее. Постепенно поняла: вывести на эмоции этого истукана практически невозможно. Театральные эффекты, которые она кропотливо воспроизводила, возможно неосознанно повторяя соответствующие сцены из любимых драматических фильмов (задираание подбородка, вытягивание губ, медленные шажки, внезапное рубящее движение ладонью), не возымели ожидаемого действия, да и юноша уже освоился в заведении и не совершал глупых ошибок, поэтому она отступила, переключившись на более привычные для пропесочивания объекты, одним из которых был глуховатый дворник, другим — старший брат дворника, сорокалетний имбецил, передувший немало кошек в окрестностях, пока наконец не был пойман с поличным и публично же, заливаясь кудахтающим смехом, высечен на заднем дворе под одобритeльное бормотание пришлоy старухи, владелицы доброй половины пропавших кисок.

Какую роль он выполнял в заведении, Сергей Петрович затруднялся сказать, но не раз видел его в столовой, где имбецил не столько

ел, сколько ловил мух и с высунутым от усердия кончиком языка обрывал им крылья, пока (к его вящей радости) кто-нибудь хулигана не выпроваживал.

На столе, помимо семечек, любимого ее лакомства, и стопки дел будущих насельников (в основном свидетельства о рождении), лежал демонстративно распахнутый роман Владимира Муркина «Полеты над крышами». Он был открыт всегда на одной и той же загнутой странице, хотя, по уверению Нины Андреевны, оказался настолько увлекательным, что она перечитала его трижды и вот, со странной смесью горделивости и стыда общала директриса, читает заново, — обычно на этом моменте — хорошо помнил Сергей Петрович — она бросалась пересказывать содержание, впрочем, отраженное в объемной аннотации, так что понять наверняка, читает она впервые или передает отлично знакомый текст, было невозможно. В любом случае охранник, восхищенный обложкой, где пышнотелая женщина с выражением ужаса на хорошеньком личике пятится от двухметрового монстра — не то зомби, не то мутанта, в коростах и гнойниках, и сам был заинтригован книгой, но надменная директриса ни с кем не делилась, а библиотекарша разводила руками: единственный экземпляр.

Раньше у него возникали мысли украсть, да он тут же их прогонял, теперь же, когда вожделенный роман был так близко, Сергей Петрович, захваченный новыми событиями, мельком взглянул на него, перелистал, и хотел было отложить, как вдруг заметил, что откуда-то из его середины выпала мятая, будто ее долгое время, прежде чем переместить в книгу, хранили в кармане, полоска бумаги, записка, и на ней весьма корявым и смутно знакомым ему почерком было написано: «Приходи».

Глядя на неловкие, словно выписанные старательной детской рукой чернильные буквы, Сергей Петрович вспомнил, что этот почерк очень похож на почерк Ивана Бобрышкина, местного полицейского. Точнее сказать — милиционера. Нельзя было обозвать полисменом этого высокого, поджарого, румяного и вечно как будто немного подшофе человечка (принципиального трезвенника!),

внешний вид которого немедленно вызывал в памяти — пусть даже и фантомные, в том случае, когда они возникали в сознании юнца, воспоминания о Советском Союзе, мишках на Севере, аляповатых мультфильмах, пронзительных ночных диалогах в квадратном кино, и прочее, что составляет могучий культурный костяк нашего счастливого общества.

В старые годы, еще до случая на заброшенном заводе, Сергей Петрович встречал Бобрышкина (кстати, отнюдь не походившего на свою плюшевую и пухлую фамилию, его телесной консистенции вполне соответствовала бы фамилия Журавель или Проволока (охраннику встретила и такая однажды в давно почившей газетенке, ее носил, впрочем, тип, недостойный упоминания, не то обокравший жену, не то подсидевший тестя)) при обстоятельствах, хорошо что не криминальных: приятель отца, самозванный юрист, а на самом деле ушлый и малопонятный пройдоха, исполнял мелкие поручения участкового, за что бывал награжден совместными поездками на пикник, где и блаженно напивался, пока Бобрышкин, отведав в сторону маленького Сережу (а приятель обязательно тащил с собой его отца, и Сережа до сих пор кринжевал при мысли о том, как, истерически топя ножкой, напрашивался поехать с ними), сперва просто молчаливо выставял указательный палец в сторону блюющего «юриста», а потом начинал беседы о нравственности и трезвости, довольно, впрочем, короткие, потому что мальчик не мог долго устоять на месте и прыгал то за белкой, то за бабочкой.

Наступало время самого интересного. Бобрышкин раскладывал на берегу рыболовные принадлежности, пока Сережа безо всякого напоминания со стеклянной банкой бродил по окрестностям в поисках червей. Удивительно — хотя в этом, скорей, следует искать не удивительное, а некий патологический душок — выкапывать из земли извивающихся тварей казалось ему более захватывающим занятием, нежели спокойная и однообразная ловля покорной и лишь чуть трепыхающейся рыбы.

Личная жизнь директрисы — загадка для Сергея Петровича — всегда была предметом пересудов. Одни всерьез заявляли, что

она разведена и это произошло по причине ее не слишком стойкого морального облика, в молодости у нее якобы еще были кое-какие принципы, но после сорока пустилась во все тяжкие, находилась в довольно близком сношении по крайней мере с десятком самцов, причем делала это так незаметно, что никто ничего не замечал.

Другие говорили, что Нина Андреевна старая дева и ни разу не подпускала к себе мужчин: люто их возненавидела, после того как в юные годы местный татарин-тракторист попытался ее насильничать.

В эту легенду охранник вовсе не верил. Чудаковатого тракториста он знал с детства, и тот, истово верующий, не в Христа, а в Будду, как требовалось по моде прошлых лет, не мог и таракана раздавить, а женщин делил на две категории: на тех, кому можно целовать подол платья, и тех, на кого страшно посмотреть: боялся умереть от красоты.

Втайне же охранник на первых порах надеялся, что строгая директриса влюблена в него (а это происходит часто — зрелые женщины без ума от статных и красивых юношей, мнил мешковатый, сутулый и похожий на задрипанного кролика Сергей Петрович), потом перестал об этом гадать, унылая ее личная жизнь (предмет не менее унылых слухов) как-то отдалилась от него на фоне свежих впечатлений.

5

От размышлений его оторвал неожиданный в этом месте, захлапанный разномастным советским хламом — директриса была если и не совсем луддитом, то явно пренебрегала электронными благами цивилизации, предпочитая прочные, хорошо сработанные вещи лядащим гаджетам, — глуховатый телефонный звонок. И если охранник сперва не мог найти телефон (так много нужных и ненужных вещей оказалось в этой неожиданно вместительной комнате), то когда все же за картонными коробками в углу (будто аппаратом давно, или даже ни разу, не пользовались) обрел искомое, то сперва ошеломлен от удивления.

Мысли насчет ее луддизма оказались верны. Это был старинный дисковый аппарат, и Сергей Петрович, видевший такие лишь на картинках, не знал, как к нему подступиться. Когда же снял трубку, невольно подражая вальяжному жесту из гангстерского кино (жалая, что нет низко надвинутой шляпы и пышной сигары), то уставший, видимо, ждать ответа голос (очень похожий на голос Бобрышкина) на другом конце трубки отрывисто сказал «Не приходи», и пошли короткие гудки.

Некоторое время Сергей Петрович пребывал в прострации, а потом у него сам собой буквально за пару мгновений созрел план. Нужно отправиться к полицейскому, там наверняка Нина Андреевна. Встретившись с ними, он убьет двух зайцев: убедится, что директриса крутит шуры-муры (а это важно как минимум для того, чтобы перестать ее опасаться — одинокая женщина вызывает подозрение — уж не протек ли у нее котелок (так недавно один несчастный неопит интернет-знакомств на свою беду познакомился с дамочкой, которая в молодости, по собственным, возможно, высшим, соображениям, отпилила себе кисть руки. Сей факт его не смутил. Романтическая встреча закончилась тем, что она зарезала друга кухонным ножом)), и получит инструкции, что делать с диковинной находкой.

Не было ничего странного в том, что над столом у вечно занятой женщины висело расписание автобусов (на матовой открытке в противно-пастельных тонах бежал бойкий автобус, которому прихотливое воображение дизайнера приделало вместо колес собачьи лапы).

Взгляд Сергея Петровича тотчас зацепился за нужную остановку, и он — испуганный тем, что пропустит свой рейс (а следующего ждать полчаса) — уже вымахнул на улицу, в холодную, несмотря на проступившее в белесой мути солнце, пустоту, где много дней подряд лили гнилые дожди (они представлялись ему гнилыми, потому что все деревянные предметы (а местный мир словно только из них и состоял: заборы, штaketники бревен, стоящие друг за другом дачные, предназначенные под снос, домики) впитали в себя влагу, и воздух пропах сладкой гнильцой).

Остановка уже маячила впереди, как вдруг он заметил, что археоптерикса у него нет, верно забыл в спальне, и еще пуще припустил обратно, всячески кляня себя — особенно он боялся, что кто-то — например, уборщица — мог войти, подобрать древнюю вещицу, раньше него показать оную начальству и получить за это причитающиеся, по сути, ему плюшки. Убедился, что птичий скелет мирно покоится на мятых коробках и — дабы подобной оказии отныне не случалось, решил примотать археоптерикса себе на спину.

Нетерпеливо обыскав оказавшуюся лишней каких-либо веревок спальню и ощущая волнение первобытного воровского инстинкта, Сергей Петрович открыл соседнюю дверь, откуда сонно забормотал толстый сын кухарки. Отшатнулся, рванул вдаль по коридору, и пока разум лихорадочно размышлял над тем, где найти искомое, ноги (которых, верно, влек все тот же инстинкт) вывели к черному ходу.

В полоске уличного света виднелись: колода с топором, огород, заросший бледно-красными пиниями (в действительности он не различал виды цветов, но слово нравилось, и иногда, мечтательно взглядывая на грядку, он со вздохом произносил: вот и пинии подросли, нарвал бы букет, да подарить некому), и то, чего вчера еще не было — импровизированные качели из старой автомобильной покрышки. Веревка оказалась завязана таким тугим узлом, что, чертыхаясь, он разрубил ее топором.

Еще больше времени (опасаясь, что и следующая автобус уйдет) потратил на то, чтобы привязать птицу как можно аккуратнее, и тогда уже — не бегом — а сперва маленькими шажками, затем ровным шагом, и наконец ускоренным добрался до остановки, где по полному отсутствию народа убедился, что профукал рейс, а следующего ждать не меньше часа, и совсем приуныл.

Раскачиваясь как умалишенный, посидел на краешке лавки пару минут (впрочем, лавкой трудно было назвать это ловко сработанное из обтесанного бревна сиденье) и принял трудное для себя решение (прежде всего потому, что деньгами разбрасываться не любил)

поймать попутную машину, для чего пошел по шоссе, чтобы не попасться на глаза прохожему (что-то неуловимо стыдное чудилось ему в том, что он собирался сделать), и когда остановка пропала из вида, как заправский хичхайкер вытянул руку с отставленным большим пальцем.

Конечно, он не ждал, что первый же встречный автомобиль примет столь нелепого пассажира (а с огромным птичьим скелетом на спине Сергей Петрович был именно что нелеп, если не сказать — смешон), но явно рассчитывал на второй или третий, когда же и через полчаса никто не соизволил остановиться (лишь один грузовик, доверху груженный тарой с белесой рыбой, начал было тормозить, но, видимо, водитель заметил странное приспособление у гражданина и набрал скорость), решил пройти весь путь собственными ногами, тем более оставалось всего-то километров десять и уже вдали виднелся густой бор. За ним, после местной речки, через которую вел бетонный мост, стоящий на трех старых сваях, покосившихся и затянутых там и сям зеленой ряской, раскинулась деревня. Ее легко можно было узнать по заброшенной колокольне.

В это высокое строение вряд ли хоть когда-то был вмонтирован колокол, и если бы Сергей Петрович страдал от неразделенной любви, то не преминул бы с нее броситься.

Из неформальных разговоров с представителем администрации он знал, что куцая колокольня давно предназначена под снос.

6

Не успел он пройти и десяти шагов (причем руку опустил и палец стыдливо подогнул в кулачок), как вдруг перед ним затормозила возникшая будто из ниоткуда «жучка» (охранник и сам не заметил, что воздух сделался влажным и поднялся едва различимый туман).

Его окрикнул водитель, похожий на продавца арбузов с армянского рынка (круглая кепка, нахлобученная едва-едва, казалось, могла слететь от легкого рывка жучки). Со слабым, едва уловимым акцентом в голосе предложил сесть.

Сергей Петрович с удовольствием принял приглашение, но не потому, что утомился (хотя ноги гудели, и если бы пришлось пройти еще с десяток километров, он завтра с трудом смог бы встать с кровати), его заинтересовал пассажир, которого он мельком разглядел — если, конечно, пассажиром можно назвать рысь в деревянной клетке, — скорее, пленница.

Водитель уверил, что животное опасности не представляет (Сергей Петрович, про себя усмехнувшись, отметил, что толика опасности ему бы не помешала — какой-то год был пластиковый), и пока автомобиль набирал ход, веселый и словоохотливый армянин пустился рассказывать, как дикий зверь попал к нему.

Длинный, путаный рассказ так утомил охранника, что он стал засыпать, пытаясь краем уха уловить содержание истории — то ли армянин (как он мысленно прозвал этого носатого коренастого человечка) давно ни перед кем не выговаривался, то ли в нем по какой-то причине бушевала нервозность, но начал он издали, со своей жены, которая, выходило так, что была абсолютной душой, с возрастом это интеллектуальное качество лишь возросло в геометрической, гомерической, гемороидальной прогрессии, и муж (в какой-то момент он начал говорить о себе в третьем лице), к счастью, лишь изредка наблюдал, как деградирует красавица, поскольку постоянно бывал в командировках.

Вот ей перевалило за шестьдесят (Сергей Петрович всмотрелся в лицо армянина и понял, что ему не чуть за сорок, как померещилось сперва, а, пожалуй, под семьдесят), она поверила в чудодейственную силу природы, и почти год жила на даче, где и прикормила бродячую кошку — так, по крайней мере, неумная женщина думала — ровно до тех пор, пока ей не объяснили, что она каждый день оставляет молочко и консервы — свирепой рыси. Пусть та в силу возраста еще и не была запредельных для кошки размеров, но спутать их могла лишь такая дура, как моя жена, закончил армянин и пояснил, что вмешался на последнем этапе, когда все в округе только и трезвонили о том, что к Наталье повадился ходить хищник. Грешным делом, я сперва подумал о любовнике и вооружился

двустволкой. Она мне не понадобилась (прикормленная тварь так поверила в людей, что сама идет на руки)...

Сергей Петрович плавно провалился в сон и прозевал момент, когда они во что-то врезались. Мощно трянуло, посыпались стекла.

Бормоча сквозь зубы отборные ругательства, водитель выскочил из машины. Охранник же, потирая шишку на голове (более опасных свидетельств аварии тело покамест не выдавало), пытался окончательно проснуться, но с удивлением понял, что даже в такой экстремальной, по сути, ситуации, организм старается мирно почивать и какие-то тени сновидений не успели рассеяться: тут недопроявленное ухо, там — зажеванный обрывок разговора.

«Горе!» — услышал он испуганный голос армянина и понял, что если сейчас не выйдет, то может статься, водитель попросту сбежит, оставив его одного разбираться со всеми внезапными проблемами.

Распахнув дверь, заметил, что нога побаливает (и вообразил ужасную ситуацию: так, жертва автомобильной катастрофы в первые секунды ощущает, что у нее небольшой синячок на коленке, в то время как оторванное бедро валяется рядом в кустах).

Но то, что он увидел, не шло ни в какое сравнение с оторванной конечностью.

Сначала в глаза бросился хромированный задок велосипеда (хотя по безумному взгляду армянина всё и так было понятно), затем — подалеже, на обочине, порядочно забрызганные кровью, так что даже полицейскую фуражку сложно было идентифицировать и пришлось сделать еще два-три трудных шага, лежали два тела — мужское и женское. Нину Андреевну удалось узнать сразу, у нее было платье с мелкими голубыми фиалками, метрах в пяти, лицом в траву, лежал Бобрышкин и, кажется, подрагивал, словно хотел встряхнуться, проснуться...

Ужас состоял и в том (вернее, увиденное было ужасом — а это кошмаром), что рысь освободилась из сломавшейся в момент толчка клетки и, никого не смущаясь и довольно урча, лакобилась филейными частями Нины Андреевны.

«Подождите, пожалуйста», — изменившимся голосом и неожиданно обращаясь к нему на вы, прошептал армянин.

Бросился к машине. Открыв багажник, достал двустволку.

Сергей Петрович хмуро кивнул, думая, что тот хочет застрелить обожравшуюся рысь (того и гляди она, вкусив человечинки, могла ринуться и на них), но водитель направил дуло на него самого. Зажмурясь, вдавил дуло в его грудь и быстро выстрелил.

Часть вторая

1

Ни для кого не секрет, что советская система образования, при всем своем, безусловно благонамеренном, стремлении к объективной передаче фактов, была в силу определенных причин очень консервативна. Учебники, выпускаемые государством, не всегда придерживались точности, когда речь заходила о новейших разработках в какой-либо отрасли, пусть даже сколь угодно широко распространенных и признанных среди научных кругов (то же самое относится к непопулярным идеям или к таким, которые хотя и пережили столетия, на вкус составителей учебников слишком смелы и могут отвлечь школьников или навести на нежелательные мысли). Потому они проигнорировали известные еще с конца XVIII века научные факты об археоптериксе, представив в качестве истинного фальшивое описание данного существа.

На скорую руку археоптерикса втиснули в советскую науку о динозаврах. Единственное, что сохранили составители от того, что относилось к подлинному облику птицы, была фотография окаменелого скелета.

По мнениям палеонтологов позднего СССР, исходя из формы скелета можно вывести то, как птица приблизительно выглядела. Несколько вариантов как бы ожившего археоптерикса были расположены следом за черно-белым оттиском пожухлой фотографии (особенно Сереже нравился тот, где птица — впрочем, едва ли можно так назвать

тварь с вытянутой мордой по меньшей мере крокодила и мультяшно-круглыми, навывкате, глазами — грубовато ощерилась и раскинула крылья, готовясь либо взлететь, либо броситься за добычей).

Если следовать правильной классификации видов, археоптерикса следовало поместить в разряд насекомых, а не птиц. Он был колоссальных размеров первобытным жуком, и как все инсекты — обладал миметическими свойствами.

Биологи открыли немало удивительных примеров мимикрии, когда, чтобы спастись от извечного недруга, то или иное живое существо эволюционно вырабатывает отпугивающие хищника черты — яркий окрас, резкий запах. Так называемый «скелет» был полностью сформированным телом, способным к передвижению и размножению, и лишь внешне имитировал специфические особенности мертвой, то есть не годной к употреблению особи.

Среди версий происхождения такой странной имитации доминирует «паразитарная гипотеза». Считается, что враг археоптерикса охотился на мелких животных (мелких, конечно, в рамках размеров юрского периода), в шерсти которых и гнездились жучки. Раз за разом наблюдая, как хищники поедают их погибших хозяев, к костной ткани же относятся равнодушно, археоптериксы (круглые, с тройными роговыми наростами на нижней части туловища, похожие на обратный вариант наших жуков-оленей), мутировали в ползающие скелеты. Под ловкой подделкой желтоватой кости (местами с серыми пятнами такой же искусственной «пыли»), скрывались сложно устроенные внутренние органы. Под ними прятался реальный костный каркас этого изумительного существа (оцените избыточную даже для изобильной фантазии природы многослойность: фальшивые кости, созданные для того, чтобы сохранить в целостности и невредимости кости настоящие).

Сережа и другие советские школьники (а также многие учителя, лишённые критического мышления) никогда не узнали и другой правды об археоптериксе: он не являлся ископаемым существом в подлинном смысле слова.

Благодаря общим для всех насекомых свойствам (куда входила и повышенная способность к выживаемости в экстремальных условиях) он преспокойно пережил мезозойскую эру (весело перебегая от укрытия к укрытию под градом метеоритов, придумают иные шутники), переполз и через древний мир (пока бывшие обезьяны травили байки возле ночного костра), перемахнул и остальные эпохи и остановился во времени Сергея Петровича, в 199101 году, надеясь после грядущей экологической катастрофы безбоязненно бегать по голой и пустой планете (они, возможно, эволюционировали бы до состояния разумных тварей и, например, бойко торговали дурманом из-под полы на каких-нибудь распродажах лежалой тюли).

За миллионы лет маскировочной практики они научились никому не попадаться на глаза (исполнить это было несложно еще и оттого, что популяция их, и так невеликая, постоянно снижалась — специалисты давно ведут дебаты по данному вопросу, — и на весь город Сергея Петровича имелось не больше сотни жуков), причем среди мест их обитания, как правило, не было пустынных или далеких от цивилизации оазисов.

Предпочитая селиться среди людей, чьи митохондрии они, как типичные тараканы, питались, археоптериксы прятались в подвалах, в канализационных люках, смелые особи забирались под полы в деревянные дома, или даже проникали под материал навесных потолков в иных богато обставленных комнатах.

По ночам жуки нередко выходили из тайных убежищ и (всегда поодиночке) совершали медленные рейды по городу.

Мало кто замечал этих вездесущих тварей, разве что животные (но хозяева игнорировали внезапный испуг питомцев) или дети (именно от них пошла легенда про слендермена — чрезвычайно худое, спичкообразное существо с тонкими комариными конечностями, как правило, обнаруживаемое на стенах многоквартирных домов; ищет незапертые форточки, чтобы, наверное, превратить в кровавый фарш спящую семью; к счастью, малыши не сумели как следует разглядеть

слендермена, ведь правда повергла бы их в еще больший шок).

Ученые всячески пытались развеять туман в головах, выпускали книги, снимали научно-популярные передачи, но крошечные островки истины тонули в разливанном море самого безумного бреда, доступного пользователям наших медиа, и не воспринимались всерьез.

Несмотря на жуткие челюсти и мелкие острые зубки, археоптериксы не являлись хищниками (угрожающие причиндалы были лишь имитацией таковых; настоящий «ротик» располагался ниже челюстей, на уровне начала грудного отдела, и был несколько сантиметров в диаметре) и довольствовались, как уже говорилось, городскими отходами и привычными нам растениями (особенно любили лакомиться чуть подгнившей осенней листвой).

От внимательного читателя не ускользнуло любопытное обстоятельство: Сергей Петрович, изначально беспокоившийся о том, как бы ненароком не повредить скелет, в дальнейшем словно забыл о нем (например, садясь в автомобиль, не соизволил убедиться, что ноша в порядке). На какое-то время он действительно забыл о нем. Скелет сперва казался чем-то инородным, болтался за спиной, как нераскрывшийся парашют, но постепенно делался легче, и вдруг перестал ощущаться. Охранник, уже увлеченный новыми впечатлениями, мельком, может быть, подсознательно, отметил это состояние и не возвращался к нему. Причиной тому была повышенная миметическая чувствительность археоптерикса.

Миллионы лет игры в прятки способствовали тому, что его скелетная форма научилась хорошо распознавать подобные себе структуры. Слишком плотное прилегание к телу Сергея Петровича дало этому слепому жучку, который сначала пребывал в привычном для себя оцепенении — в кататоническое состояние он входил в любой непредвиденной ситуации (а в интернате прожил без малого шестьдесят лет, с самого его основания, когда залез в сырой только что отстроенный подвал, и вскоре так освоился, что знал сотни неизвестных людям полузросших мусором проходов, поэтому, не тревожась, даже днем вы-

ползал под полусгнившие половицы из своих земляных ходов, и звук, принимаемый охранником за скрип отсыревшей доски, был его пискон), — он пребывал в привычном оцепенении, однако тепло от спины Сергея Петровича вернуло бодрость, а плотное прилегание (с веревкой охранник и правда перестарался) дало жуку ощущение формы скелета своего носителя. Она, взывая к древним инстинктам, напомнила о форме самок.

А чего теряться-то, обрадовался жук, искренне считающий, что природа дала ему подругу, и тут же проворно совокупился с позвоночником Сергея Петровича.

2

Специфика спаривания археоптерикса досконально изучена современными энтомологами. Не нужно думать, что это кровавый ритуал. Тысячи микроскопических члеников входят в потовые железы (у самок другой орган — занимающий большую часть спины, но про Сергея Петровича и людей вообще (ведь подобные совокупления хотя и редко, да бывают) — правильно говорить, что жуки используют их потовые железы) и передают ферментную жидкость, которая изначально составляет половину массы тела археоптерикса. Из нее формируется новый скелет.

Пока процесс формирования не начался, сцепленные воедино жуки образуют общий организм, где большей частью двигательных функций управляет самец (редчайшее, заметим, в природе подчинение самки самцу), жучиха же испытывает неясные томления, во всем полностью полагаясь на хозяина.

В нашем случае ситуация на порядок причудливее. После того как запутавшийся армянин застрелил свидетеля своего преступления — Сергея Петровича — и тот, по сути, не успел как следует напугаться или испытать смертные муки, поскольку пуля пробила коронарную артерию, археоптерикс лишь немного сдвинулся, еще прочнее внедряясь в носителя.

Связанный через ферментную жидкость с его неповрежденным мозгом уже и на нейронном уровне, скелет заставил охранника подняться, и хотя у того из груди текла кровь,

а лицо не выражало эмоций, своим привычным ровным шагом, лишь чуть сутулясь, он направился к деревне.

Инерция его остаточных мыслей, привычек и прочих причиндалов жизненного опыта оказалась так сильна, что жук, погруженный невидимыми стрелками в мертвый мозг, просто следовал тому, чего хочет организм, жизнь которого паразит изо всех сил старался поддерживать хотя бы в минимальной степени, достаточной для того, чтобы тело не покрывалось пятнами разложения.

Способности скелета к регенерации оказались столь велики, что, еще не дойдя до деревни, Сергей Петрович был совершенно целый, будто в него только что не палили из двустволки. Конечно, жизнь вернуть археоптерикс был не в силах, но восстановил кожные покровы, так что пятна крови можно было считать потеками краски, а неспешно идущего человека — маляром, который улучил минутку и направляется, к примеру, в местное сельпо за баночкой пива.

Пройдя по центральной улице, Сергей Петрович замер возле какой-то избы и неуверенно раскачивал вытянутые по швам руки.

Тот фрагмент его памяти, где содержались недавние события, связанные с находкой, занимал не больше пары часов и постепенно вымывался из их совместной нейронной сети с жуком. Тогда активизировались прежние отсеки памяти, где он работал охранником.

Сергей Петрович вернулся в интернат и по застарелой привычке приступил к выполнению своих обязанностей.

Интернат, однако, стоял на ушах. Бегал, не зная, куда деваться, пьяненький завхоз. Носились по коридорам оголтелые дети, они были рады любой новости, независимо от того, хорошая она или плохая. Воспитатели собрались в кабинете и, перекрикивая друг друга, обсуждали то, что буквально пару часов назад сделалось известно: директрису и участкового сбила машина.

Дважды приезжала полиция, и молодой, но уже не в меру усатый следователь требовал какие-то бумаги и, получая постоянно нете, сильно сердился, грозя к чертовой матери закрыть этот клоповник. Всем задавали

ничего не значащие вопросы, в том числе и Сергею Петровичу, но тот, странно глядя исподлобья, произносил нечленораздельные звуки, и его отправили подальше.

Бюрократическая система у нас такова, что Происшествия с криминальным душком расследуются годами, и всё никак не может найтись правильная круглая печать, чтобы как навозную муху прихлопнуть исписанный показаниями листок.

Однако в деле имелся труп участкового, и все точки над «и» были расставлены за считанные дни. Армянина взяли в аэропорту, и хотя он всеми святыми клялся, что в момент совершения наезда был на луне, в Венесуэле, в дозачаточном виде, ему определили максимальный срок.

Блаженный дождь затер следы крови попутчика, и армянин был приятно удивлен — если можно говорить о приятном в таком мрачном контексте — что никто не интересуется вторым (главным) преступлением, и решил, что всем все равно на Сергея Петровича, ибо убийство двух лиц с лихвой перекрывает его глупую, скучную смерть.

В городском управлении долго судачили на тему того, кто будет занимать пост нового директора — тогда в должность вошел молодой и активный мэр, который — рубаха-парень — лез во все проблемы, и, стараясь перед ним выслужиться, господа предлагали кандидатуры если и не абсурдные, то чрезмерно демократические — долой, говорили они, коррупцию, нам на местах нужны люди, близкие народу.

Выбор пал на молчаливого охранника (к тому времени жук догадался, что молчание в его положении — поистине золото, и прекратил попытки объясняться так, как хотелось слабеющей памяти Сергея Петровича, на вопросы отвечая хмыканьем, покачиванием головой или односложными ответами, которые могли быть сочтены за согласие, — и все вокруг не только не забило тревогу, но и порадовались за молодого человека: уважает старших, сговорчивый, простой, ответственный).

Нисколько не удивленный внезапно повышению, уже не охранник, а «товарищ ди-

ректор» принял бразды правления в свои, так сказать, жвалы, и вышло неожиданно хорошо.

Его лаконичный стиль общения, подчеркнуто спокойное поведение, парадоксальное умение находить общий язык с самыми неисправимыми аутистами были приняты на ура как среди подчиненных, так и в высоких сферах, куда он порой выезжал с докладом (если можно было назвать докладом дежурные отписки — на шаблонные письменные фразы у тела еще хватало памяти, которую археоптерик медленно употреблял, чтобы создать привычное для теперь их общего с охранником организма жизненное пространство).

Сергей Петрович стал появляться на различных досках почета, у него завелись деньги — а тратил он оные весьма умеренно, на хозяйственные нужды, не скупился и раздавать подчиненным, как будто плохо представлял ценность денег или вовсе не знал ее.

Вскоре его повысили (ходатайствовал мэр) до местечкового депутата, и там он продолжал исправно выполнять однообразные простые функции, словно в памяти о работе охранника содержались и практические знания о депутатской должности.

Жить ему стало действительно комфортнее и легче, чем прежде. Его не одолевали никакие мысли, засыпал он мгновенно и просыпался в полной готовности работать. Приучился есть человеческую пищу (а иную желудок бы и не вынес), но не страдал излишествами, и ресторанным разносолам предпочитал гречневую кашу, в которую для вкуса клал два-три тополиных листочка.

Пару раз Сергея Петровича показывали по телевидению. «Перед нами пример выдающегося управленца! — кричала молоденькая дикторша. — Он уже вписал свое имя в историю с помощью бескорыстного, неустанного труда во благо отечества!»

Он, конечно, понятия не имел о том, что строит карьеру и забрался почти на самый верх общественной лестницы, он всего лишь старался максимально приспособиться к новым обстоятельствам, используя остатки памяти охранника. Она таяла, перепутывалась.

Настали дни, когда он мог вместо того, чтобы пойти, например, в баню, зарыться

по грудь в землю и полдня простоять, улыбаясь встревоженной охране. Но к тому времени Сергей Петрович уже работал в депутатском корпусе, и делать что-либо осмысленное ему практически не требовалось, только присутствовать на бесконечных совещаниях, где он вдохновлял коллег необычайно просветленным взглядом (молчание Петракова, — говорили о нем, — порой дороже многочасового красноречия нас всех вместе взятых). Память охранника давно была исчерпана, и жук погружался в далекие — юношеские — пласты, чтобы найти ресурсы для поддержания оптимального комфорта.

3

Это произошло на пике его карьеры. Однажды в разгаре лета он ушел налегке из дома и пропал навсегда. Народ строил гипотезы разной степени правдоподобности. Кто-то полагал, что Сергей Петрович опростился и решил жить вместе с народом, а не отгораживаться от него высоким депутатским домом-замком с решетками на окнах и злыми псами в палисаднике, и теперь работает охранником в провинциальной «Пятерочке». Другой думал, что на депутата наехали братки, и он посчитал нужным на какое-то время залечь на дно. Нет, возражал третий, он уехал в Амстердам, к любовнице. Четвертый, потирая ручки, шептал: Петраков стащил из казны десяток миллиардов и, едва запахло жареным, сбежал.

Слухи, конечно, были далеки от истины. Рано утром Сергей Петрович, без вещей, в дорогом костюме, с карманами, набитыми тополиными листьями, пришел к строительному комбинату.

Здесь детская память начинала сильно сбоить — для чего он сюда явился, жук не понимал. С комбинатом был связан в памяти некий неразложимый остаток, непонятный, зашифрованный пласт, который не поддавался ухищрениям ферментной жидкости.

Это место было настолько значимо для носителя, что едва он вошел в заросший двор комбината, тотчас ощутил сильную эйфорию и, оставив в стороне всяческие прили-

чия и условности, пустился ползать и щелкать зубами. Инстинкт куда-то вел его.

Он передвигался, находя путь даже не по запаху (обоняние совместного тела было слабым), а по однажды уже виденным очертаниям света и тени, и так получилось, что все ближе и ближе подступал к деревянной махине цеха. Там и сям в нем были выломаны доски, а целые — прогнили и обросли если не плесенью, так иностранными матерными изречениями игравшей тут детворы. Иногда растения расступались и открывался пятачок вытопанной травы, где, видимо, спали бомжи или, притащив бревно, жгли костры гопники.

По-пластунски он проник в дверь (половина створки была давно вырвана), и сразу почувствовав себя уверенней, пополз через весь цех с его бесконечными деревянными (и пустыми теперь) отсеками, с его громоздкими машинами, от которых остались отдельные части, неподъемные для охотников за железным ломом, — причудливо изогнутые, они были похожи то на гигантские болты, то на огромные пружины, — здесь были даже перевернутые школьные парты, словно эксцентричный учитель проводил урок среди груд мусора.

Там, куда он наконец приполз, пока на него налипали не только слои грязи, но и пробки, гнилые яблочные огрызки, и прочий мусор, — в противоположной стороне — виднелась в стене малозаметная (а спустя восемь лет и вовсе незаметная) дверь. Жук к тому времени забыл, как пользоваться руками Сергея Петровича, и долго тыкал ее носом, пока не потекла кровь. Он волновался все сильнее, приходя то в ярость от того, что дверь не открывается, то в неистовство от того, что скоро будет внутри. И в самом деле, усилия были вознаграждены, доска треснула. Лихорадочно разгрызая отверстие, жук протиснул внутрь тело носителя.

Если раньше подсобка и была чем-то заполнена, то все давно сгнило или отправилось на свалку. Пустое помещение два на два метра. К стене криво прислонена ржавая батарея, коли встать на нее — можно увидеть на подоконнике засохшие окурки, осколок темно-бурого стекла, колючий куст, протянувшийся листья сквозь щели.

Сергей Петрович, волнуясь и быстро-быстро переползая от одной стены к другой, словно что-то искал. Он резко шевелил руками, будто пружинами, и бурно выгибал туловище, уже забывшее свою недавнюю человеческую сущность. В одном он был точно уверен — то, что он ищет, будет найдено, и когда нашлись за батареей детские трусики, надорванные, с пятнами запекшейся крови, куда его когда-то такие сильные, послушные пальцы, лихорадочно уминая, их спрятали, он внезапно остановился и зарыдал, став на мгновение опять похожим на человека. Но это были, скорее, слезы невыносимой радости.

Не зная, что делать с неожиданной находкой, жук стал запихивать их в рот, давясь и перхая, твердо уверенный, что они как-то

связаны с ним — но как? — археоптерикс поступил с ними единственным понятным ему способом: внешнее сделал внутренним. Только не учел того, что рот человека не приспособлен для столь яростных заглатываний материи, и в какой-то момент начал задыхаться, но вытащить безвольными руками их обратно уже не смог.

Спустя несколько минут мозг Сергея Петровича — уже давно дышащий на ладан — окончательно отказал, перед тем как отключиться, выдав потрясающее по яркости зрительное ощущение: он словно видел ее спиной, в голубом и легком не по погоде платье, с двумя ярко-красными бантами в блестяще-черных волосах, и тогдашнее чувство тревоги, безотчетное прежде, обрело наконец подлинный смысл.

Кирилл Шубин

Времена года



чешуя луковицы разворачивается. подростки поют
в самую короткую ночь. прямые, забывающие
пешие прогулки. вдруг запах спускается к нам,
ты пристально глядишь на него.

серая чайка разносит крик, озёрные чайки кружат,
приветствуя; топчутся перед воронами.

кристально чистое небо
притягивает крошки для своих тараканов, живущих
в другой комнате. сдают
тесные улицы — ошибкам памяти.

пух падает, просто падает пух с
клёнов, а у них — самокрутки, и по ним
собираются сойтись и застыть [terra incognita],
наблюдая и арендуя
и прямые света, и свет прямых.

Время года: Ён и Омэль

птица, несущая в клюве веточку,
встречает лебедя и гагару, ворона и утку,
лягушек, ещё голубя, ещё гагар.

птица, несущая в клюве веточку,
падает на Огненный остров и лепит гнездо на
водосточных желобах, садится на Белую башню —
осыпается потолок.

за ней ползут каракурты, стаи щеглов,
подростки Мохаве и Приднестровья, волки
в сады, где травы охвачены домами.

в стаканах Маросейки — пропавшие головы;
Хамовники пропахли дерьмом;
рекордное число людей приехало
из Подмосковья в столицу в этом году;
участились аварии с участием по-
лицейских. только север блажен.
собаки стучат головой об пол.

когда каждый со знаком солнца,
никого не встретишь по внутренним улицам,
уходят на дальние прогулки. по ошибке
горит Якиманка, и пригородные электрички — бесплатны.

дни сильно короче.
добровольцы копают землю, где сядет гагара.
21:47, проезжавшие в Сергиев Посад следили за полосой
одежды, удлинявшейся после каждого харчка корчившегося медведя.

лейтенант загнал себя сульфозином. «кажется» — не
слово, когда гадаешь: они выходят погулять в Тимирязевский парк
искать в бою верблюдов и ос, гадюк и веретениц, заползших под камни.

собаки роют канавы и убегают с вещами, сожжёнными или
спрятанными. метро всё ещё работает, в него никто не ходит,
там спят солдаты и слезливые арестанты. постоянно
в депо находят новые и новые поезда.
голуби и мясо тухнут под солнцем, а друзья сидят
на Гончарной, наблюдая за дронами. те, кто остался,
сдят огороды и только гуляют.
сегодня разлилось химкинское водохранилище,
и вокруг всё временно пустеет. к нам пришли друзья,
а мы пришли к ним. и, собрав рюкзаки, мы проводим дни в ожидании
тех вещей, что придут, перебираясь ближе к Твери.

Время года: Ворса

Можно перепрыгнуть забор: и он — колея.
 В чистый полдень прибыли велосипедисты,
 проезжали гиганты мест. На Пролетарской
 История просит руки у враных стаек. Призорщик
 во все дни повышает проезд, так что по
 улице Железнодорожной растекаются пары
 водителей с их автоматами и теми, кто шёл пешком
 (во все дни действует только одна дорога).

Велосипедисты ставят котёл и расходятся следами.
 Пять следов — на улице Донны Тартт.
 Полицейские усиливаются у каждого входа, так что
 все пропадают, и каждый пришедший — пропажа.

Ветер разносит пустые обёртки и пачки, и среди
 велосипедов, самокатов и пр. остаётся огромный тигрёнок,
 начинающий зеленеть.

Заливает улицу Малых Овражков,
 вслед за ней застывает слепая погода. И,
 смотря на совесть волн велосипедов, уставивших улицу,
 мной воображаем Призор, как отмеченный перепадами спиц,
 камни прячущих и выносящих, как смотрящий за рекой Впустую,
 за идущей слепой погодой, пробежавшей узел.

Время года: площадь Восстания

шелковица пропитывает кожу в два счёта меня
 забывая один на один в лесорубе встреченном
 на станции видимо пропущенной если по
 сле неё сию на дереве полном ягод и муравьёв
 наверное, так выглядит речь будущего.

а Он ест чайку, и так проходит наша первая встреча.
 кожа и кожа, под ягоду: под каким
 товарняком и как разреженно стоять линиям, бельчатым,
 чтобы встретиться с бóльшим временем. со сверчком, пусть и,
 я бы был идеально общителен.

Вокзалы с честной колодой солдат в этом городе от-
 кидывают ветви. убежать не представить
 под сводом с часами-вitraжем. насколько в неясном
 времени должен державинский сад проходить в перово,
 чтобы поверить в Него.

я не знаколюсь с хозяевами собак, но знаколюсь с упавшими солдатами, контуженными и везущими мусор в корзине велосипеда, как летом, когда пропали все огари, и по садам отправились впервые трамваи, перенайдя Его, вспышку копоты и гнилого мха можно заключить в ожидание тех семей, что сами ожидают поезда, отходящего в те же часы.

Время года: Москва

Пауки в проёмах ГЭС, его металлическом ограждении, беззвучии московских дворов — отданные сами себе — не попавшиеся, не встреченные достаточно раз как муравьи-одиночки и складки-карманы между кожей и воздухом. Точно кремли и подворья, что поспешно проморгали с собой.

Река за рекой принимает чаек. Евфимия пересыпается в руки лодочников. Москва известна как самая скалистая река, местами заболоченная, местами просечённая стаями пауков, просечённых гоголями.

Ока и Клязьма укладывают в оборот составы, рассыпаясь на тину часовых: немногим большим, немногим меньше насекомых и птиц, — кажутся ранами вывернутые линзы мышц.

Время года: Сатурн

из глины растёт, видно ветер,
как лестница без перил.
оппадают семена тяжёлых облаков, вышитых кругом

как жидкая масса — тянется за
границей идущего-перешедшего, за солдатами
и велосипедистами —

проросшие как памятники бухт и землетрясений,
кирасированные клетки-плиты, отражающие
места за окнами, остававшимися на месте:

за папоротником в садах «Алтай»
и «中国外运»¹ — близкие,
завядшие в элодее, спущенной с кострецов,
оперённой оборотной стороной следа.

все суржские ларьки покрываются грустной органической тканью
Ползучих, сделавших и небо
на один укус. полотно, обманывающее свойства.

«подростки», «друзья» и «ребята» — вычищенные группы-одиночки,
что боялся и так вдруг следоваших мимо — обеспокоенные
первым снегом и землями, встающими вдоль охвата.

говорить о напоминаниях: напоминая:

со спущенной шиной, прячется крестовик
с желанием встречи, крысы дерутся с котами,

свет необжит.

сошки не отмываются, как случайны осиные гнёзда,
как одного, двух этажей дома: полчас — на час.
в старых вещах живут только друзья.

гуляли, смотря по земли,

не засыпали, покидали на вечеринки и ненужную работу дома
и возвращались. так что с яблони чей и чьих рябин
только ленивый и мы не сорвали по шапке.

и москва неперестроечна, и крестовик заполз
между стеной и плитой, и кто к нему заползает.

и когда петербург был разрушен, все пере-
брались в псков, перебрались в новгород, кто
переберётся в ладогу. эти двухэтажные новостройки с
инструментами на час и тряпками, и холодными окнами.

змеиный язык осыпается, какая-то участь
прокладывает железную дорогу по ладожскому озеру,
переплывая морозящую реку, поглощая архетипичность места,
кому вспоминает друзей: клеили жесты, наблюдали сенокосцев.
новые ремешки.

¹ Sinotrans (кит.) — логистическая и транспортная компания Китая. Иероглифическая надпись находится на вагонах их поездов.

Даниил Буланкин

Бабушка



Громкий храп соседней полки резко преврал сон Селиванова.

Он посмотрел на экран телефона. Пять утра. Впереди еще целый день пути. Селиванов ехал проведать бабушку.

Поезд несся сквозь лес, а Селиванов думал, когда же уже захлебнется языком его сосед. Потом он подумал о бабушке. Интересно, как там старушка? Ей уже 96. Живет же поколение...

Селиванов с грустью вспомнил о своем возрасте. Уже 35. Вроде и молодой, а вроде и полжизни за плечами.

— Мужчина, купите открытку, помогите деткам, — оборвала печальную полудрему Селиванова проводница.

— Чего? — переспросил Селиванов.

— Открытку купите, сироты рисовали. Специально для РЖД.

— Нет, спасибо. Не нужно.

— А вы возьмите и купите, — сказав, изменилась в лице проводница. От натянутой улыбочки не осталось и следа. Голос стал ниже и настойчивее.

— Не хочу я! — с нескрываемым удивлением от наглости проводницы ответил Селиванов.

— Не хотеть все могут, а вы купите открытку, сиротки рисовали, — продолжила проводница.

— Да не нужна мне ваша открытка!

— Никому не нужна. А вы возьмите и купите!

— Да не хочу я, отстаньте от меня! — сорвался Селиванов.

— Не хотите — как хотите. Чего кричать-то? — вновь спокойно, но с обидой в голосе ответила проводница. И пошла дальше, продолжая ворчать. — Такие все агрессивные... Лучше б вести себя научились.

Селиванов выглянул в окно. Проезжали мимо небольшого городка.

— Сухостоево (нет, блин, Мокролёжево), — прочитал и тут же искрометно пошутил Селиванов.

Селиванов тихо захихикал. К его месту снова подошла проводница.

— Мороженое, рожки, стаканчики, эскимо, — продекламировала она с таким видом, будто недавней ссоры не существовало.

— Опять вы? — сухо спросил Селиванов.

— Я? Ну да. А кто еще? Мы с вами уже сутки едем. Мороженое будете брать? — отчеканила проводница с той же натянутой улыбкой.

— Спасибо, мне ничего не нужно, — ответил Селиванов, уже ожидая нового затянутого диалога.

— Ну, на нет и суда нет, — неожиданно для Селиванова ответила проводница и пошла дальше, приговаривая: — Мороженое, рожки, стаканчики, эскимо...

— Странная она, — подумал Селиванов. — Понаберут по объявлению, а мне потом терпеть.

Селиванов еще немного побухтел и, сам того не заметив, уснул.

— Просыпайтесь, через полчаса подъезжаем к Болезево, — противный голос проводницы вырвал Селиванова на свет. — Просыпайтесь, сами же просили разбудить! — не унималась проводница.

— Ох, спасибо-спасибо. Проснулся, спасибо, — ответил сонный Селиванов, чтобы неприятная женщина уже отстала. Ему не нужно было в Болезево.

— А когда 1455-й километр? — спросил Селиванов.

— Завтра в 7 утра, — ответила проводница.

— Тогда вы что-то перепутали. Разбудите меня, пожалуйста, завтра за полчаса.

— Завтра все могут, а вы сегодня выйдите в Болезево, — вновь изменилась в лице проводница.

— Да не надо мне в Болезево... Я и будить не просил, — ответил Селиванов, начиная раздражаться.

— Все говорят, что им не надо в Болезево. А вы возьмите да выйдите, — настаивала проводница.

— Я еду до 1455-го километра! — начал доказывать Селиванов и даже потянулся за билетом.

— Все едут до 1455-го километра, а вы — до Болезево, — ответила проводница.

— Да вот же, билет... а... почему Болезево? — перестал понимать реальность Селиванов.

— Я ж говорю, вам в Болезево. А вы все — нет, нет. РЖД — это вам не это. У нас все записано! — победно подняла палец проводница.

— Но у меня же бабушка... на 1455-м километре... — чуть не плакал Селиванов.

— Бабушка ваша тоже в Болезево, — неожиданно ответила проводница.

— А вы откуда знаете, — испуганно ответил Селиванов. Ситуация все больше начинала его напрягать.

— Я же сказала. РЖД — это вам не это. У нас все записано! Посмотрите билет.

Селиванов прочитал: «Казань — Болезево. К бабушке».

Как странно... А где мне её там искать? — спросил Селиванов у проводницы.

Женщина достала из кармана форменной рубашки блокнот, сверилась с записями РЖД, хмыкнула и сказала: «Так... Елена Степановна, 96 лет. Станция Болезево. Будет ждать».

— А откуда она там? — спросил сконфуженный Селиванов.

— Ну сказано же: 96 лет. В её возрасте периодически в Болезево ездят. Вы вообще не слушаете? — раздраженно ответила проводница. — Собирайтесь, через 15 минут станция.

Станция Болезево встретила Селиванова серым небом и легким морозящим дождем. Бабушки на перроне не было.

Селиванов достал телефон, нашел в списке контактов любимую бабушку и позвонил. Пошли гудки.

Пару минут — и в трубке прозвучал родной голос: «Алёй? Костик, ты приехал? Я бегу уже».

— Бабуля, да, я. На перроне стою. Что ты делаешь в Болезево? — нетерпеливо начал расспрашивать Селиванов.

— Чего? Подожди, подойду. Все, давай, внучек, увидимся! — прервала разговор старушка.

Селиванов остался ждать.

Прошел час. Селиванов сидел на станции, больше похожей на автобусную остановку. Моросящий дождь не прекращался, было сыро и промозгло. Бабушка всё никак не могла добежать.

Селиванов звонил три или четыре раза — одни гудки. Все это было странно. Прямо как поведение проводницы...

— И что здесь забыла моя бабуля, — спросил сам себя Селиванов. Ответа ждать было неоткуда, и он снова набрал бабушку.

Гудки. И еще гудки. Ту-у-у-у-т-у-у-у-у-у.

— Алёй? Костик, ты приехал? Я бегу уже.

— Бабушка, ты уже это говорила! Где ты? Почему мы в Болезево?

— Чего? Подожди, подойду. Все, давай, внучек, увидимся! — вновь прервала разговор старушка.

Селиванова это озадачило. Он решил набрать еще раз.

— Алёй? Костик, ты приехал? Я бегу уже.

Селиванов решил промолчать.

— Чего? Подожди, подойду. Все, давай, внучек, увидимся! — опять услышал он.

Что-то явно было нечисто...

Селиванов замерз и решил посмотреть в смартфоне расписание здешних поездов. Страшно хотелось вернуться домой. И так же страшно, даже чуть страшнее, хотелось курить.

— Это всё нервы, — подумал он.

3G показывал все 4 палочки связи, но расписание все равно долго не грузилось. Селиванов отвлекся, чтобы закурить.

Когда с сигаретой было покончено, Селиванов вновь посмотрел на экран. Вместо сайта на него глядел огромный рисунок фиги, сотканный из знаков препинания.

От испуга и непонимания Селиванов чуть было не выкинул телефон. Тем временем фига исчезла и вновь обернулась расписанием. Однако вместо времени у каждого пункта было одно указание: «СЕЙЧАС!»

— Как это сейчас, если ничего нет... — подумал Селиванов и в тот же момент услышал громкий гудок. Прямо перед ним стоял поезд Волгоград — Нижневартовск.

Дверь открылась — и из вагона выскочил бодрый проводник.

— Вы в Казань? — спросил он Селиванова.

— Хотелось бы, — честно ответил Селиванов.

— Ну, поехали тогда...

Селиванов вошел в поезд, получил от проводника белье, положил сумку на верхнюю полку, заправил себе постель и лёг спать.

Громкий храп соседней полки резко прервал сон Селиванова.

Он посмотрел на экран телефона. Пять утра. Впереди еще целый день пути. Селиванов ехал проведать бабушку.

Антон Васецкий

Альпинистка



Столько раз проверяли, на месте ли,
через видеокамеры в вертолетах,
что во сне за грядями небесными
лишь она в одиночестве в тех высотах.

Балансирует между твердью и пустотой,
выдыхает нутро в безвоздушный холод,
вызывая в памяти: летний зной,
виноградник тенью косой расколот.

Та же скупость земли учит крепко держать
руду.
Тот же свет, и, хотя ни полслова о красном
снеге,
винограду тоже написано на роду
потерпеть, разрабатывая побеги.

Операция по спасению тяжела
из-за непредсказуемости и риска,
но кому не хотелось бы, чтобы она жила,
незадачливая альпинистка.

Я написал стихотворение
и отправил его семерым людям,
чьим мнением дорожу.
Первый ответил,
что получилось не очень.
Второй похвалил.
Остальные
промолчали.
Кому же верить
в этом смутном
и уклончивом мире?

Григорию Медведеву

Думаешь,
болит из-за дерева.
А это ты
на него смотришь,
когда болит.
И стоит слегка сместить
основание черепа,
обновить
перед глазами вид –
станет болеть
из-за дома,
из-за забора,
из-за площадки.
Из-за неба,
выглядывающего из-за крыш.
Из-за выроненной кем-то
на тротуар
перчатки.
Хотя это ноет
твоя диафрагма
всего-то лишь.

А вот и дыра
в диафрагме,
с которой никак
не сжиться
и не проститься никак.
Заставляет
болезненно сжиматься
мышцы
и дышать
вязким воздухом
впопыхах.
Так и плетёшься
подолгу на автомате,
пока напряжение
не вырубит автомат
и не мигнёт озарение,
резкое, словно «нате!».
И бескомпромиссное,
как АБАНАМАТ.

Весь твой маршрут
вдоль газонов
из розовых флоксов

и киосков
с истёршейся надписью
«Роспечать»
нужен, чтобы прийти
к осмыслению парадокса,
над которым
захочется помолчать.
Если вычеркнуть боль,
утрамбованную дорогу
и повсюду
натяканные фонари,
остаётся свобода.
Которой настолько много,
что ничем не стеснить
ни снаружи,
ни изнутри.

Информационный дисплей
в подземном переходе
покрыт сеткой трещин,
словно паутиной.
Ни звука, ни изображения.
Только мерцающие
разноцветные пиксели
с одного края
и зияющая чернота
с другого.
Но даже в таком состоянии
он
продолжает
светить.

Е. Ж.

Трудно делать с нуля.
Как всегда за основу
взяв кого-то другого,
ты думаешь: «Гля,

наша жизнь – просто текст
без особого смысла.

яркие вспышки и те, понимала едва ли,
что твоё тело позднее найдёт в интернете
на фотографиях и не поверит вначале
подслеповатым глазам, а, поверив, захочет
вытянуть их из башки, как шнурки

из корсета,
лишь бы не видеть твои покрасневшие
мочки,
тот, кто купил тебе платье вечернее это.

Удивительно видеть,
как они комментируют
и лайкают друг друга,
твои знакомые
из разных вселенных.
Бывшая одноклассница
и бывший коллега.
Бывший друг
и бывшая начальница.
Просто бывшая
и бывшая.
Вычлени общий множитель
из слагаемых.
И ты увидишь,
что в уравнении
остались только они,
а бывшее
вынесено за скобки.
Это ты, приятель.

Через 20 минут так никто и не перезвонит.
И пока я несую домой купленный
обогреватель,
примеряя усталость, а с нею — растерянный
вид
в честь пропавших из доступа Иры, Алёны
и Кати,
вечер пятницы едет по швам, расплзается
вдоль,
уводя в черно-белую гамму последние
метры,

и под ноги застывшему
перед распластанной зеброй
пешеходу безжалостно мечет дорожную
соль.

В караоке

Как будоражит эта музыка,
какое учиняет месиво
в душе доверчивого узника,
что сразу муторно и весело.

Я тоже раньше был несдержанным
и слишком часто покорялся ей,
переполняя сердце скрежетом
и свистопляской плексигласовой.

Да и теперь, уже обтёршийся
о городские заведения,
слукавлю, заявив танцпольщикам,
что защищён от наваждения.

Что, примагнитившись хрусталиком
во тьме к экрану, даже близко не
спешу за беспокойным шариком
сплести высокое и низкое.

Рамочка

Если не выключать
фильм или сериал
на заключительных титрах,
ты обязательно увидишь,
что одно из имён
в этих списках
обведено
скорбной рамочкой.
Прояви уважение
к людям,
заплатившим за твой досуг
самым ценным.
Досматривай титры
до конца.

Владимир Бекমেетьев

Новые Тартарары, или провалы в памяти



*приходит кладбищенский внук
как некий железный каблук
и всё рассыпается в прах
и всё рассыпается в прах*

*пред вами пучина
пред вами причина
где корень <...>
где аист вещей*

Александр Введенский

Часть первая

I.

Как раз тогда наступала осень, такое славное межвременье Вале и Илье нравилось, а эпихально разгордившееся лето — нет. В Городе не было приличных водоёмов, Город был суровым-суровым, он был создан взрослыми для взрослых-рослых, для детей в основном тут были только хмурые, загрязнённые леса и пустыри.

Да иногда бродячий цирк заглянет: обезьянки-замухрышки, близорукие от постоянного позирования перед вспышкой; подвыпившие клоуны, настоящие красно-синие носы которых уже не скрыть поролоновому шарикуну... а фокусники-картежники, лопающие ладонями карты, этикие обжорки — такое здесь дети сами умеют, по научению дворовых катал.

Были же ещё детские лагеря? Были нелепы, они не создавали чувства восторга, не воздавали почестей уюта, так необходимой для детей. Но считали ли Валя и Илья тогда себя детьми? Они были храбрыми лазутчиками, чьи лица разрумянены северным солнцем.

«Осень: время переворота корней, опустошения земли-кладовой — нет долгов, разрешения земли-кормилицы от плодов, грохот охряных картофелин в спускном жёлобе. Горят костры с безделухами травы, плачущее небо полнится дымными змеями, играющими в догонялки, в пожиралки», — так сказал бы заштатный поэт, затесавшийся между сонных бульдозероводителей и ключников тракторных теремов.

В этом много спокойствия! Но такого, что ненароком «можно успокоиться навсегда» — так вам в местности этой сказал бы любой «пожилой человек за тридцать». В это время в местности этой появляются расхитители урожая, определяется их тeneвитый статус; раньше — летом — пропойцы и бездомные, отбиравшие у леса грибы, — теперь существа, замешанные в какой-то древней делёжке. Прошлой осенью на чердаке барака Илью чуть не схватили и во тьму не утащили какие-то злобные одутлыши, одышливые, в массивных комбинезонах — еле выпутался. Потерял башмак. Конечно, верить ему...

Было время предосеннее, но... предстояло возвращаться на учёбу — бесповоротно оставить летние вылазки — глупо, необходимо было совершить последний августовский переход и трудиться в новой стране.

Сплavиться по жёлтой речке на самодельном плоту — самое то! Проплыть под мостом, храбро выйти в Центральный Пруд — во имя решительных осенних мигнов! Настало время баламутным огольцам стать смиренными слугами большого труда. Встали они спозаранку и отправились к реке. Река — громко сказано, да, когда-то там водилась рыба, река напывала Центральный Пруд. Каждые выходные уставшие рабочие отправлялись на пруд, существовала рыбалка — существовала и лодочная станция. Похоже, что их отцы могли застать учреждения отдохновения, пощупать сияющее времяпровождение, деды-то уж несомненно. Сейчас же там сплошная оплошная одинокость и сплошная дикость. Гармоничный триумф неорганического. Заммер-Кайзера на троне сменил Вильдер-Кайзер.

«В реке ничего не водится, даже микроорганизмы. ПДК превышает все допустимые

нормы. Ученые, которые брали здесь анализы, так прямо и сказали: вся таблица Менделеева...»

Но нет, Валя и Илья привыкли противостоять тиранической заносчивости природы.

Мальчики приступили к работе в поте лица и по колено в воде. Карапузы из окрестных хибар смотрели на корабельщиков с удивлением и завистью. Нет, их не возьмут, возможно, они будут сопровождать путешественников в начале пути, глядеть издали, ныкаясь в кустах, но скоро потеряют интерес.

Сквозь рассольную толщу, как отважные первопроходцы зловещих топей, рукой придерживаясь за плот, химеру, явившуюся из строительного хлама задворок, они двинулись к тоннелю. Тоннель, сквозь который река, подземно, просекала мост. На мосту дрыгались пучеглазые допотопные грузовики, выкашливая изрядно дыма, хламными-отравными особями тащились инвалидки, разнося блатные напевы — этот развратный мир техники, рублёвой работы и копеечных развлечений никак не влиял на приключения мальчишек. В мутной воде Валя дрыгал ногой, ему казалось, что какие-никакие мутанты-пиявки в речушке могут быть. Даже слабые дрыги защитят от нападков кровососов, от превращения в соляное чучелко-мишень. Илья держался заметно бодрее, но тоже настороже. Как пёс конурный в светлый промежуток между обедом и ужином. Он разделся до плавок, загорелый и телом довольно ладный, ведя плот вперед, вёртко путеводил. Валя же был в шортах и футболке, бледно-жёлтых, как и его кожа.

Чего им было бояться, когда они могли проверять себя нырками в крапивный заповедник, а потом, до крови кусая губы, победоносно праздновать на кромке зловредного поля?

— Стой, стой, погоди, я на что-то наткнулся. Тут мешок, ох, не получается, завязан. Давай вскроем!

— Да ну, к чёрту, погнали дальше.

Но Валя уже возился с находкой.

— Наверное, строительный мусор, — предположил Илья.

Мешок оказался тяжёлый. Тяжёлый, неразговорчивый, скрытный: сокровенное вывали-

вать не хотел. Он навалился на Валю, и тот его приобнял, как танцевальную барышню. Мешок, как бы осутулившись от всполоха-расплоха, нарушившего его безмятежное подмостование-существование, соизволил открыться. Открыться, но не прорваться, а на макушке верёвочкой развязаться, выставив на показ приключенцам своё содержимое. Что-то круглое, массивное и образинное плюхнулось Вале в удивленные ладони: отпустил мешок.

— Господи, чья-то башка!

Пас-плюх в воду — бежать. Плыть, бежать, хлюпать.

— Валя, Валя, куда ты? — кричал вслед Илья, пытаясь догнать друга.

Тоннель обрывался на верхотуре, внизу ржавел едкий пруд. Закат хищно обмакивал тонкие алые губы в воду, готовясь заглотив в темноту окружающее пространство.

К пруду ребята спустились столь же быстро, сколь и аккуратно.

— Что это было? — на удивление спокойно поинтересовался Илья.

— Н-н-не знаю, чья-то голова, — дрожа ответил Валя.

— Может это мяч был?

— Да нет, тёплое такое, вроде шара с глазами.

— Бреешься! У меня что ли нахватался?

Испуганный внезапной находкой, мальчик присел под прибрежный куст и долго молчал. Долго ощупывал себя, словно не мог обнаружить выживательного многокарманного набора настоящего приключенца: ни спичек, ни ножа, ни табака, ни губной гармошки.

— У меня тут печенье осталось. Что-то со страху так есть захотелось! — наконец подал он голос.

(У Вали в целлофане склизкая, разбухшая масса).

— Пожалуй, я откажусь.

— Ну, как хочешь.

Домой Валя вернулся грязный, вонючий, не помылся, не разделся, нырнул под одеяло, тотчас же заснул.

Илья же, наоборот, загодя вычистился у уличной колонки, выполнил всю работу по дому, покормил сестру, прочитал ей сказку (хотя она старше была).

О находке, о самоистязательных приключениях родителям не сказали: Илье всё равно бы никто не поверил, а про Валю решили бы, что он поддался влиянию фантазёра.

В общем, план не удался, страшно было представить, что теперь могло случиться. Скука? Обыденность?

Илью в классе считали... ну, чуточки того. Всё из-за его рассказней, учился он неважно, но со старанием. Он был новичком, переведён из расформированного класса вместе с несколькими ребятами. В нагрузку к безобидным троечникам шёл топорный тип, по имени Герман. Для своего возраста он был чересчур рослым, его можно было бы назвать верзилой, но завзятым толстым увальнем он не был. Словно из другого теста, отличной конституции, урожайный малый (точнее большой). На лице всегда добродушная улыбка, но будто лишённая самостоятельности, под диктовку обильного ужина или сладкого сна. Смышлён был, но хитёр как охотник-чемпион. Во внешности ладный, в одежде аккуратный, популярность среди девчонок — словом, явных опасений он не вызывал...

Все перемены Валя обычно просиживал, читая книги, книг глотал много и повсюду. Наплевать, что подумают. Наплевать было и на внешний вид, он и так считал себя славным, артистичным, гениальным (!). Поиски новой одежды доставляли ему мучения, то ли дело книжные развалы! Запах плесени, успокаивающее шуршание страниц — будто оказывался в лесу. Валя обожал шнырять по лесам, любил ходить в лохмотьях, замотав лицо тряпками, волосы, взъерошенные под капюшоном, спортивный костюм, бабушкина шаль. Патрулировал лес, обезличенный шатался среди отшельных кондиционных систем, бетонированных русел ручьёв. Часами прятался в взопревшей траве, искусанный и голодный, — следопыт закатного неба.

Многочасовые бдения, однако, часто нарушал страх — что уж! — ужас поезда. Начиналось всё с гудка, нахального шума, лая

пса, испуганного, потом словно шальная туша с небес сбегает, дрожит, гремит, застопорившись на повороте, — не обращай внимания на лай, сиди себе, но уют растравлен. Протащится поезд, задавит пса. Трясётся крыжовник, плачет рябина. Не уймутся жилистые стрелы ревеня. Поезд убивает всех красных быков и звёздных лис, как он убил Верного. Бедный пёс!

Но оказалось, что есть чего Вале страшишься, помимо поезда.

Есть такие люди, которых можно назвать шкуродерами. Нет, твоя оболочка их не интересует, не интересует и внутреннее содержание — обнажения и унижения — для них он сладостен. Таким был Герман.

— Ого, новая кофточка? Валон, ты решил прихорошиться? Или это мамка постаралась?

И смотрел пристально, с чего он вообще это заметил, будто таким беспородкам доступно особое ВИДЕНИЕ?! Особенное восприятие! Разве они не щепки-рыбёшки в океане лихолетья?

— Знаешь, по словам одного китайского мудреца, «достойный муж надевает на себя худую одежду, но в себе имеет драгоценный камень».

— Что ты несёшь? Самый умный, что ли?

Небрежно смахнул Герман лапищей Валею на пол, не дал встать, удары тяжёлыми ботинками по бокам. Потом стоймя поставил: «Дерись, цапля», но глумление над резиновым мясом спарринг-манекена началось ещё до того, как Валя задумался об ответке. Снова — Валя — на пол.

И никто не подошёл на помощь, никто. Это было временем позора. Первое публичное избиение. Нет, просто наглый панибратский отлуп. Даже не пришлёп, больно не было. Валя впал в полубессознательное состояние от стыда.

Боль не пожелала считаться со временем позором и безвзорно взмыла, прицепилась на потолочный карниз: «Что уж, парень, терпи, я кричать не буду». День померк, тяжёлые сучья света выламывали стёкла и желтушной трухой крошились на подоконники, потом осыпались на пол, смешиваясь со слезами

на пестрящем фоне, превращались в мутную жижу. Потолок рекреации затянуло туманом. Ещё пару минут, и начнутся тычки — настоящие, а не это вот позёрство от мальчишки-переростка. Провал раззявит зев и проглотит... и проглотит.

«Но ведь ты не хочешь, чтобы туда взяли только тебя, к вечным ягодам и хохлатым стеблам. Нам необходимо ГЕРМАНОзаграждение. Остальных, так и быть, возьмём. Они послужат отличным материалом... для заграждения!»

Сплющенные фигурки безучастно заплывали в класс — не посмели возразить, оказаться крайними в очередной сече, лишь пара старшеклассниц склонилась над опрокинутым Валею. Пара старшеклассниц... и Илья. Новичок помог подняться избиенному, угостил шоколадом, пронял ласковым взглядом.

Ещё года два назад Валя мог быть заводилой в драках, хотя случалось это крайне редко. Потом неожиданно стал отличником, втянулся в чтение, в игры на сообразительность...

«Бедный ты тюленёнок! Хорошо хоть не обмочился, не склеил ласты. Ну как тебе его поцелуйчики?! Такой ухмыльный эпизод! — голос внутри ещё более разошёлся. — О, как хорошо было бы, если бы не стало этих ненавистных Германов, Чернышей, тупоголовых старшаков — ты бы восторжествовал! Ура-пока-пока! И к чему любить эту школу, выкормышей-отличников, разводящих стукотню и готовых в то же время дать списать любому подонку с глумливой лыбой, продлить его существование в этой системе, несправедливой системе, глубоко порочной?! И учителя ничем не лучше — безразличные истуканы».

Нет, и высокая успеваемость Вали — лишь одно из проявлений ярости и презрения. Возможно, на этом фоне возникла теплота к Илье. Парнем он был смышлёным. Но его воображение, рисковую фантазию школа никак не могла применить. Он был праздношатающим. А Вале были необходимы праздники среди серости и унылости, в нём было так много стихийности, ведь он даже не научился различать время по механическим часам, хватало инстинктивного чутья.

Илья постоянно врал... Нет, не так, постоянно «травил» истории, были они у него такие послушные, влажные, расплывающиеся паточной-влажгой по площадкам их бесед — местам историческим. Нет, он не тайнами делился, не тайнами. Истории Ильи о домах, о его домах: много комнат, светлые праздничные сады, цветущие; коридоры опутаны лианами, но светлы; множество бессмертных и пушистых существ блуждают по лабиринтам. Тогда ещё, если он видел посланцев, они являлись открыто, прозрачные и светящиеся, не топали по чердакам, не хрустели жестью на крышах, не обкусывали носы у спящих детишек, не вваливались непрошено за стол молчащими болванами.

На следующее утро, после «сплава», Валя — шалая голова — вскочил ни свет ни заря, за ночь усталость схлынула, волнительные потоки обмелели. Запрыгнул в высохший, но испачканный костюм лазутчика. Дома народ отсутствовал, и завтрак не был приготовлен. Пошарившись по шкафам, мальчик нашёл коробку печенья, решил, что заточит на ходу — нужно бежать к Илье, а почему... непонятно. Пульсировала неясная радость — выкуси, уставная тягомотина, неужели «переход» прошёл удачно, неужели всё правильно сделали? Сделали-дили-дили.

На улице было странно пустынно, листьев на землю наволокло подозрительно много, от жары, совсем не августовской. Однако тихо не было, подозрительное жужжание раздавалось, а источник непонятен, скрыт. Ох ты ж, это от листьев — стоило пригнуться, вслушаться, не шурша. Поворочал ногой, нет никого, насекомая братия не скрывается. Как странно... Но радость влекла вперёд. Телефона у Ильи не было, но куда уж он денется — застанет, если дрыхнет — разбудит. Дом его недалеко. Так-с, во дворе может оказаться эта противная стрекозка — Олечка. Как она доставала Валу! Не то чтобы он ее боялся... Но она же девочка, причём младше него. Странно: презрения к ней он не испытывал, скажем так — опасал-

ся. В их городке у некоторых детишек было распространено одно развлечение — полубеспризорные салопеты ошивались по улицам и задирали детвору постарше, «словами на грани», жестами оскорбительными, позорные клички раздавали, как подарки праздничные. Трогать их, отпор давать было нельзя, за шалопаями-провокаторами приглядывали злые братья. Хорошо если шишками-фингалами отделаешься, а могут и на «счётчик» поставить недотёпистого, а там и чего похуже.

Валя уже приблизился к дому друга: грязная махина, часть окон заколочена; во дворе вздутие бельевых парусов, машины — какие-то развалюхи, редкие; детская площадка с гипертрофированными сооружениями загажена; стекло битое, пойло едкое, на верандах разлитое. Но Олечки не было. Из подъезда по обычке не несло канализацией, не слышались отголоски пьяных ссор (но то ещё утро, рано). Слышалось, однако, уже знакомое жужжание, да только более назойливое. Пришлось долго мучить жжёную кнопку хамовитого звонка и ногою стучать по хлипкой двери, пока Илья не открыл. Выглядел он сонно и будто был не рад появлению Вали.

— У тебя что, тоже нет никого? — спросил Валя, оглядывая квартиру. — Даже сестры?

— Не-а.

— Ну может, ты знаешь, куда все подевались?

— Возможно.

— Не томи.

— Да ты разве не слышал? Памятник сегодня переоткрывают. Пятьдесят лет погибшим шахтерам.

Пятьдесят лет назад на Главной шахте случился пожар.

Погибло пятьдесят человек.

«Причина — ошибка персонала. Неверно выбранный реверс воздушного потока не дал возможности людям быстро выйти из зоны, где сконцентрировался угарный газ, — сообщили в местной газете. — Смерть от отравления угарным газом наступила быстро, достаточно было несколько раз вдохнуть воздух с содержанием 0,1% CO».

— А мы почему не там? Не у памятника?

Илья пожал плечами.

— Так пошли же... Скорее!

Городское кладбище находилось как раз за Центральным Прудом. Пекло не осеннему, да ещё нужно было подниматься в гору. Илья еле тащился, был неразговорчив.

Путь к кладбищу лежал через Дворец культуры, монструозный остаток эпохи Империи. Сейчас Дворец преследовал рок нескончаемого ремонта, облупленный фасад покрывала зелёная сетка. Что-то вздувало её, какое-то невидимое движение, будто стаи птиц рвались на свободу, запутываясь в ячеях. Валя и Илья часто здесь зависали, тут находилась библиотека, краеведческий музей, различные студии и кружки. Но самое интересное — зал игровых автоматов.

После краха Империи автоматы можно было обнаружить в самых разных местах: тёмношкурые приземистые пони и корпуса военных самолётов (захватанные штурвалы, с отпечатками пальцев) — прятались в тёмных коридорах школ и Станции юных техников, в заброшенном парке развлечений. Здесь же — во Дворце — автоматы представляли в своей увядающей красе, не прячась от взоров, работали. «Морской бой», «Хоккей», «Охота на уток».

Валю, конечно, с его склонностью к лесному авантюризму больше всего интересовала «Охота».

Подходишь важнецки к экрану, и вот оно! Уже приклад ружья будоражит плечо, мелькают птицы, бах-бах, падают в ад плат, треск приятный механический.

Потом старый автомат сломался, ремонтник, по совместительству директор Краеведческого музея, пропал в гениальном запое. Озабоченность экологическими непонятками в Городе не могли скрасить чаепития с чучелами соболей и медведей, медитации на куски руды и образцы калийно-магниевого солей. «Пойду-ка я на огород», — эвфемистически говорил он. И пропал.

В недрах видеосалона, прогоревшего ввиду междуусобной свары солидных ретектирующих товариществ, нашли старый «Panasonic». Приобрели китайский аналог игровой системы «Famicom». Среди множества игр имелась и «Охота на уток», назван-

ная по-иностранному «Duck Hunt». Даже световой пистолет имелся.

Птицы падали.

Подстреленная собака же, витие из шерстяных жгутов, создание из кусков обгорелого мяса и острых клыков-зубил, вибрировала ужасным воем, звуком, утратившим всякое сходство с подбадриванием прихвостня-помощника. Потом её охватило пламя, скрылась в завихренях.

Неужели всё так скоро? Это не может быть последним уровнем. Только деньги на ветер. Он продолжал нажимать на пистолет. Однако произошло нечто странное. После первого нажатия на секунду появился чёрный экран, но не пропал, а будто далее продолжил налипать на Валины глаза, не отпускал.

Страшный грохот.

Брел по гигантской пустоши, уши заложило, но Валя продрогшим телом ощущал искрящее движение, электрический темп. Постепенно он освоился в темноте. Будто изнутри осветился. Сомнамбулой брёл по пустоши. Путеводило им лишь слабое искрящее движение световой антители, будто блеск мёртвой звезды.

Вспышка. Видимость.

Он увидел. Чёрный маслянистый водоём. Весь берег был усеян тушками птиц. Повсюду тлели костры. Пронумерованные огарки. Дым поднимался на километры ввысь и образовывал сплетения букв — имена. Те самые. Обволакивающие рот, обхватывающие медлительными кольцами рот. Дым расшептался: «Милый, ближе, ближе».

Валя почувствовал боль, через него прошла искра и, уболаясь, двинулась к круглому камню. Чем ближе мальчишка подходил к камню, тем меньше становился сам. Похоже, что яйцо. Поистине гигантское. Уже более ничего не разглядеть, кроме текстуры скорлупы.

Новый экран, пестрящий белым шумом.

Похоже, что птицы восстали от сна-разложения и начали кружиться вокруг камня. Невыносимый шум.

Красное и липкое хлынуло. Хлынуло. Он ощутил. С рёвом во рты воспрявших птиц, телом ещё мертвых, покореженных, шелестящих искалеченными крыльями.

Мерцать, мигать стало. Слова злые послышались. Птиц беснования заглушило, биение внутри яйца успокоило, медленные пульсации прекратились. Мужские и женские люди кричали. Ликовали, но будто неспособны были на продолжительное увеселение, вспышки гневного отталкивания, отчаяния и тщеты. Ликовали зловеще.

Звук узнаваемый. Бутылки летели в стены, бутылки разбивались.

Громоподобие. Превозмог. Трещина на экране. Яйцо раскололось.

Холодное и стальное стекает по ноге, достигает щиколотки. Достигает участи слезы, образующейся на морозе, ледяной кругляшок, застревает в складках закатанного носка, шарф не отлипает от солёного лица, дыра-прореха — это глаз или рот опустошившего баланс кармана?

*Слёзы, слёзы на морозе
Нет любви, погасли звёзды
Слёзы, слёзы на морозе
Слёзы, слёзы на морозе
Нет любви, погасли звёзды
Слёзы, слёзы на морозе.*

Хлопки делятся, птицы, у которых не получилось взлететь, вспархивают пощечинами исполнителю, но музыка стихает, зажигается свет, и трепетания рук-крыльев лишь.

Всполох газовой горелки, нагревающей стеклянную трубку, таких всполохов множество, одного недостаточно.

Взмах исполинской дирижёрской палочки провоцирует падение тщедушного дирижёра. Кто-то невидимый хватает, а он не хочет отдавать символ управленца, тогда дирижёра выбрасывает в толпу, а он, мал, шарится под креслами. Палочка стеклянная... она раздавлена. Отдайте щуп, найдите надутого поводыря.

*Где же ты, где же ты, ночь отступит
с рассветом
Кто ответит, зачем, зажигая лучи,*

*Солнце быстро взойдёт, заливаётся
светом
Затеряется след, мне тебя не найти.*

Началась новая песня, всё прекратилось, разошлись мужские и женские люди.

Бабушка-гардеробщица ползает по мокрому, окровавленному полу в поисках палки. Ощупывает очки, стёкла разбиты. Потом вспоминает, что и в них ничего не видит, что носит для антуража, для важности.

Яйцо раскололось. Оттуда вытянулась голова молодого дракона. Валя не удивился. Дракон картинный, даже мультяшный, милый.

Снова холл дворца. Телевизор внешне целехонек, но экран не горит. Валя не удивился, видение казалось настолько мимолётным, да, он просто зажмурил глаза, когда произошёл сбой в игре.

Потом мало что помнил. Но постепенно (на это потребовался почти год), фрагментарно химера начала обживать во снах, в периоды лесной задумчивости. Вырисовывалась цельная картина. Валю преследовали болезненные образы.

Сейчас из здания Дворца доносилась пышная, но печальная оркестровая музыка, слышались голоса, иногда даже и не голоса, а вой и стенания. Дверь оказалась закрыта, окна задернуты — в такую жарень! Можно попробовать через задний вход! Закрыто!

— Давай в замочную скважину! Слу! Гли!

Под лестницей сидел дородный человек в костюме, из кармана он достал бутылочку изумрудного стекла и пролил себе на голову, нет, не просто сбрызнул — целую половину опрокинул.

— Пусти, дай ознакомиться, — шепотничал Илья.

— Брр, отчитываться, рассчитывать, а кто будет выкапывать? Скопытиться, заговорщически. Чучелок наделать — везение дорогое, чумичек приручить — времени нужен паровоз. Товарищи, ну так же нельзя. Сожалеем, сожалеем.

– Может, постучим, знак подадим?

– Не знаю, я боюсь, дурень какой-то.

Тут под лестницу забежал какой-то прыткий, с глазками острыми и таракаными усами.

– Товарищ Камчадалов, ну нельзя же так! Ищу тебя, ищу. Скоро речь произносить. Кортеж готовим. Нужно как-то аккуратненько, на-род можем напугать.

– Сам знаю, – пробасил большой, вытира-я макушку платочком. – Пусть кресло несут, обессилел я совсем.

– Да, да, да. Земля или воздух?

– Земля или воздух, земля или воздух?! – передразнил Камчадалов. – Ох, ну и лебеза же ты! Тебе бы только сэкономить. Водный грех или земля? Именно земля преобразует старые силы в новые! Полежали-полежали, потом к свету побежали.

Парочка удалилась. Валя, очевидно, был под впечатлением разыгравшейся сцены:

– Побежали, может, ещё успеем.

– А почему бежать должны? Скоро все выйдут, непременно выйдут.

– Да ты чего, самыми первыми будем! А то эти обдурить нас хотели.

Ни сожалений, ни испуга, ни удивления, какая-то карнавальная магия, которой под-властно всё. Казалось, что дворец сейчас-сей-час запыхтит, вытаращит паучьи лапищи и двинется в сторону кладбища – ибо зачем ещё опустошать улицы, перешагивая через домишки. Так ребята близнячно и подумали, но свои мысли оставили при себе, не поде-лились.

А пруд... Пруд словно очистился за ночь, снова полноводный, заходи и купайся. Но ре-бята так спешили, что, прихватив водоем лишь краем зрения, даже не изумились.

Всю дорогу до кладбища Илья молчал.

– Бесплезно, бесплезно, всё это не под-лежит спасению, – наконец невнятно открыл-ся он.

– Что ты там бормочешь?

– Так, ничего, забудь.

– Ты что боишься? У тебя там кто-то по-хоронен?

– А я не знаю, никогда не был.

«Здесь нестыковка какая-то, разве нам недостаточно вспоминать умерших, верим-

не верим, что их окончательно пропололи с наших радостных огородов. Наверное, эти шахтёры, молодые, девушки юные, сколько слёз пролито, но лица у шахтёров спокой-ные и радостные. Должны ли мы отправиться под землю и устроить там поселения? Да что же там, целые города, чтобы привязать себя к земле! Если воскреснут, то все будут вместе. Но думать страшно так, неужели мы и после смерти останемся настолько одиноки, не бу-дем пронизать время и пространство. Отцы и матери, сёстры и братья, мужа и жены – это ещё хорошо, что они вместе будут вечность коротать. Вечность коротать. А если кого-то болото поглотило, и он сидит за камнем или пнём, и буль-буль, буль-буль. И на головы ему непрестанно валяются незадачливые охотники и рыбаки, это ещё хорошо, если валяются. Буль-буль, буль-буль, уль-гуль, пульх-ульх», – вер-телось в уме Ильи.

Ему стало смешно, он уже представил себя таким-растаким подводным монстром, кото-рый свистулькой заманивает заблудившихся грибочков в топь. А потом закружилась го-лова.

II.

Кладбище не было благоустроенным, здесь кресты, памятники, надгробия враз-ной соревновались за место с безразлич-ными к людской памяти и славе деревьями. Чтобы достигнуть монумента, необходимо было протискиваться сквозь нахальный бу-релом, блуждать заболоченными тропками. Последний приют горемычных горняков на-ходился на «татарском участке», территории таинственной, скрытой от посторонних глаз. Наконец, после часа плутаний, мальчики выш-ли к месту захоронения. Сооружение, напо-минающее громадную русскую печь, венчала резная втулка со стальной звездой.

– Ну что тормозишь? Лезь давай в печку! – пошутил Валя.

– Нет, не полезу, там мертвяки.

– Дурак, их же ещё даже не подвезли.
– Да ну? Их же пятьдесят лет назад как похоронили.

– А давай проверим? Эй, кто-нибудь, кто-нибудь здесь есть? – Валя взобрался на металлическую конструкцию (удивительно, и тут стекло разбитое, бутылочное – хорошо пировали, недавно, видимо), принялся неистово молотить палкой.

Нет, ничего не происходило.

– Ну вот, расшумелся, – с осуждением пробурчал Илья.

– Стоп, тише ты! Слушай...

Изнутри «печки» слышалось какое-то тихое поскрипывание.

– Ну что ты раскричался? – раздался скрипучий голос из-под надгробия. – Куда вот вы ползёте, и так этих мумий расслабленных навалили, таскать, не перетаскать. Так ещё и печку эту поставили. Они, ишь, хотят обмануть народ, дирехтора-то сякие. Что в печке должно быть? Прах один. А тут мумии. Мумий-то знаете, для чего делают? От, жизнь человеку продлить, а по-нашему, ещё помяться. Но кто в этом выгоду то имеет?! Дирехтора-то сякие! Ну, соберите всю свою отвагу!

Мальчики уже начали привыкать к таким финтам, но застыли как вкопанные.

– Ладно не бойтесь, шуруйте, дальше по лесочку пройдёте, найдёте, что вам нужно, а здесь не хулиганьте! – успокоительно напутствовал голос.

Вернуться обратно никто и не подумал. Быстро двинули вперёд, пролетели через лесок, перемахнули через бетонный заборище, спрятавшийся за березняком. Свалка встречала душным, чадящим пространством. И жужжание усилилось, голову сдавливало, будто некая уродливая шкатулка-душегубка захлопывалась. Птицы в казенном небе кружили трактирными мальчишками, заглатывая дымные кольца невидимого посетителя-гиганта. Нет, нет, птицы чего-то ожидали, просто вид незаинтересованный делали. Ржавыми змеями проволоки поросла земля, и кудлатые собачьи головы глядели из каждого угла металлломных нагромождений.

Около мусорных гор колосились нежные цветы. Голубые, синие, розовые. Под ногами –

бумага, битое стекло, остатки продуктов и что-то непонятной разноцветной консистенции.

Птицы чего-то ожидали, вид незаинтересованный делали. Они, пробираясь на свалки, не упустят момента схватить слушок-шепоток, таща очередную палку-ковырялку. А куда вести несут, неведомо?

«Голубиная почта – странное дело – слышал про письма в бутылках, когда мал был – рыб ловил и записки привязывал к рыбьему тельцу. Ну и что, что размокнут? Вода тайное узнает, сокровенное – главное не ври, не носи ледяную тюбетейку на голове, почаще выбирайся на солнцепёк, на солнцетрёпку, если мысль злая, если вспомнил что печальное. Что сломался, выдохся, как на кроссе, до финиша не добежал, особачился (вот уже и зверя оскорбил!), месть взял», – думалось Вале.

– Хорошо, что мы убежали всё-таки, а, Илюха?

– С кладбища?

– Да какого кладбища... Из дома сгасились.

– А-а.

Илье вовсе не показалось, что они сбегали, разве они...

– А разве мы не памятник искали?

– Фу ты, ну ты, – Валя помолчал. – Ты голодный? Знаешь, что светлячки никогда не едят? Ни в жизнь!

– Не-а. Жаль, что с собой ничего не прихватили.

– Вот ты зачем убежал?

– Не знаю, наверное, за тобой попёрся. А ты сам-то?

– Ты не вкуриваешь, пять ртов, пашешь как... – Валя зевнул, – волк.

– Вол что ли?

– Во-во! Пауза. Но я-то волк, меня не удержишь. Скоро свалю отсюда. Есть маза одна, ладно, потом, может быть... расскажу. А ты вот зачем смотался? Прихоти какие-то у тебя.

– Мать твою так говорит? Прихоти.

– Я же убежал, дурочка. Ничего она не говорит. Что ей до тебя? И до меня.

Говорят, говорят, и горит в них – шаркают зубами. Ну и дрянь. Плохая вода. Такие молодые – а зубы чёрные. Ужасное медобеспечение, специалисты под стать – ссыльные,

выселенцы по распределению — кто здесь отродясь? Именно что не рождаются здесь, пребывают, прикармливаются, даже самые стеклянные-субтильные заводят домашний скот — проще всего коз завести. Злое лезвие под луговое изобилие, вначале стараются, пашут, а потом... потом начинают прихлебывать, пить, падают с лестниц, замерзают в высотных сугробах. Оказавшись в подвальном снегу — хорошо лежать, как в погребке, тепло, и отстань, родное прекрасное лицо, не тащи, не надо.

Слои прелостей, пролежни картонных ящиков — коммерсами на выброс, отдают тухлятиной, рыбий залог — потрудитесь. И санки, и картонные залежи заброшены, натужно и свирепо скрипит снег, как стекло режут. Припозднишься и увидишь, как три пацана допивают бутылку. Жестом — останавливают издали. Садово-парковый этикет. Нежно выворачивают кожу. Но сначала вопросы. «Давай, давай, а то по кумполу». Илью заставляют поприсесть — зазвенит ли мелочь. Валя в стороне, плёнкой закрыт ли или испаринами взгляда исчезающего снегиря? Шило в живот или рашпиль?

— Вот, к примеру, Черныш, зачем травить его всё время, Илья, ладно ты, бедолага, получил по рубильнику. А меня они не били, почему?

— Какой ещё Черныш, о чём это ты? Ни от какого Черныша я не получал!

— Да ты что?! Они нас до катакомб гнали. Я — через пролет, ты — нет, и кто из нас трус?! Черныш и эти его, сявки, тоже там остались. У-у-у, вмазали тебе, я кричу: «Илья, прыгай ко мне!» Я к ним — обратно не смог, но я не трусил.

— Понты завяли? — решил поддерживать странный разговор Илья.

— Гормон на нуле. Ну прыгнул бы, ну сорвался. Собирали бы ошметки, мама родная.

— Ну ты и будорага!

— А помнишь, как я тебя сам избил? Мы малы были ещё.

— Да мы недавно знаемся-то...

— Ты был сильнее, но не сопротивлялся. Совсем не те слова, совсем. Им место в сортирах и на кухнях пьяных. Но я помню, что

у тебя сестра — инвалид, она старше нас, красивая. Вот бы её вылечить, эх.

«Да, нужно ещё помучить его, как цуцика потаскать, а потом он окаменеет, можешь наблюдать, можешь спокойно решать в уме задачи, пока его бьют, гасят толпой», — странные мысли рождались в голове у Вали во время разговора с Ильёй.

— А этого кривого видал, горбатый такой, в полушубке, зимой и летом одним цветом, ну?

— Ну да...

— Он и мне дело подошёл, но так, ерунда... Но деньги хорошие.

«Верить ли?» — проворачивал про себя Илья

— Красивая у тебя обувь, говорит, хорошие колеса, куда засеменил? Подойди-ка, не бойся. И нет его, исчез! А я не изобретаю, я подбираю, вот предположим, думаю я о волшебной стране, карты черчу, словарь составляю, греет меня мысль о такой возможности, хоть нет и не может быть этого.

— Не связывался бы ты с ним, странный он, я у него шесть пальцев заметил на руке.

Меблированный уют — далеко. Домишки из картона, ковров и коробок. Лупоглазый пузан молча рыл землю. Голыми руками с длинными безобразными ногтями. Мальчишка торчал у свежевырытой ямы, тут никаких памятников или крестов, табличек, цветов; украшением — несколько пластмассовых машинок-грузовиков, какие-то тряпицы и пучки травы, крапивы и мяты. На его чумазом, непропорционально большом, по отношению к телу, лице была ухмылка, однако, увидев пришельцев, он, должно быть, разозлился, оскалил гнилые зубки.

— Мышонок, мышенок, отчего у тебя нос грязный? — пошутил Валя.

— Чего плишли, клахоболы? Самим ничего нет, вот батьку позову — тута и залоем вас, никто не найдёт.

— Умолкни, — сказал Валя. — А то получишь! «Давно он стал таким дерзким?» — подумал Илья.

Мальчонка заскочил обратно, в ямку, как в домик, но продолжал сипеть, шипеть

— Я таких уже видел, — прошептал Илья.

– Ха-ха, где? На чердаке? В скафандрах? Или, может, прямо в песочнице приземлились?

– И нам повезло, что мы снова его видим.

Из листвы выдвинулась девочка, хрупкая, в полинявшем платье, с волосами светлыми, выгоревшими, лицом не по-детски сердитая:

– А ну, архаровцы, зачем вы его мучаете?

– Твоё какое дело, тоже мне принцесса ко-соглазая, вали отсюда!

– Я тут травы... – спокойно ответила она. – Летяча пташка, по деревьям гнёзда устраивает. Её не троны! Или крот норы роет – весь нос в земле. Так вы тихо, по струнке!

– Ох и дурная. Летяча пташка, ты ку-ку!

И она ушла, медленно, не прекословя. Ушла медленно, расчесывая, разглаживая сорно-маторную траву, выскребшую жизнь из бездумных семян в этом отхожем поле. Грустно траве.

– Ну и вонь тут!

– Ничего, потерпи.

В животе у Ильи заёрзало, закололось, заиглилось. Кусачие осы в кожаной наволочке – убирайтесь, убирайтесь – не намертво зашитый. Корчился, не выходит – вот так и кончишься. И никаких тебе поминальных плачей, причитаний раздосадованных родителей – а вот вырос бы, был бы!

– Ты чего?

– Да, счас, – Илья сжал зубы, наклонился, горечь пружинила в гортани, жди, выпрыгнет чёртик. Илья лёг на землю, и выкатилось со слюной что-то гадкое. Присел, проморгался: нет, ничего нет, только пятнышко шипящей водицы. Никаких гадов, жалоносных мучителей, колючих зародышей.

– Зырь, что я нашёл! Икр-р-а красная, икр-р-а чёрная, белая – да какая пожелаешь!

Илья привстал, обернулся. В руках у Вали продолговатый, раздувшийся диск. Понятно, резервный запас.

– Ну-у, шучу, консервы обычные, но целый мешок!

– Потравимся, я слышал тут несколько из спецшколы отравилось. Это называется бу... буту...

– Ботулизм.

– Точно. Боязно как-то поэтому.

– Не хочешь – не ешь!

Илья резво ударил по металлу каким-то обломанным ножиком, наверное, тоже со свалки.

– Да не, я сейчас, – Илья уже уплетал с ножа землистую требуху

– Хлеба бы! Ну ты, пусти!

Стало ещё жарче, как у разъярённой батареи, и дождь не предвиделся. Испарялись лужи, но небо не светлело, не алело-тлело, а дрожало сажным осадком. Солнце слабо, беспомощно барахталось гнилой апельсининой в закрытой полиэтиленовой упаковке. Надо спать.

– Жа-а-а-рень, да, Илюха?

Он уже спал. Пусть. Апельсины-мандарины, апесины-мадарины – да ни в жизнь не выкинут торгаши, продадут старухам, по-птичьи цепляющим когтями овощи-фрукты на лотках.

Высоко, заоблачно птицы.

«Птички, милые, унесите меня домой. А? Домой, домой. На юг не надо – жарень, я как Нильс – я лиса победил, друг вам. Ма-а-м, виски натри, уксусом. Да нет, не прикасался я к нему. Хорошо, было один раз. Яблочный же, яблочный. Зяблочный. В яблоках какая кислятина бывает, тошнит всё время, желчь, горечь, кислятина, тина-тина. Тина...» – бормотал Илья.

Илье показалось, что он бегаёт по окружности внутри пустой консервной банки, а птицы кружатся над ним – неуклюжим, махоньким. Пищат: «Ой, какой махонький жук, слопаем!» А «махонький» отвечает: «У-у-у, паскуды, какой я вам жук, нет, я лучше побегу дальше». Клацают клювами и кричат зловеще.

Очнулся: темно, холодрыга, мусор тлеет, но света не даёт. Друга рядом нет. Илья хотел крикнуть: «Валя!» или «На помощь!», или «Ой, мама», но смог лишь глухо промычать. Снова провалился в страшный и нудный сон, как в тартарары.

Когда Илья снова очухался, то опять не нашёл Вали, но увидел Старика. На Старике были нескладные, поморщенные брюки, пид-

жак будто самого гнилушного болотного цвета, поверх пиджака ветхая шубейка, на ногах какие-то мохнатые галоши-моховины, шляпа — на удивление чистая, даже совершенно чистая. Старик дотронулся до шляпы кончиком пальца и одним забористым щелчком сбросил. Открылось лицо, округлое, миловодиноое, только борода чернущая, глазки малюсенькие. Улыбнулся. Лучше бы не улыбался: зубы страшные, мелкие, острые, да и вроде побольше, чем у человека, количеством.

Увидев реакцию мальчика, Старик воздврил шляпу обратно, да так, что лица почти не было видно.

— Пора вставать, соня.

Говорить не получалось: язык опух? Во рту будто зола, если потрёшь-поскребёшь зубами-угольками.

— А мог бы мимо пройти! На рыбалку шёл, на пруд! Но увидел тебя, это так хорошо, так удачно! — старик снова засмеялся, обнажив два ряда острых, но совершенно здоровых зубов. — А теперь вставай, давай вставай, дать тебе руку?

— Ммм.

— Долго ты тут пролежал, хи? Пожалуй, что пару месяцев. Ты приготовил своё сердце к празднеству, а узрел лишь безучастную машину гробонесения. И всё, просто-напросто выжидатель, погребут, в землю свалят. Так думал, да?

«Н-да, а он, похоже, сдвинутый. Какие-то два месяца? Солнце ещё высоко. Наверное, и пары часов не прошло», — прикинул мальчик.

Хотя слова уже ощущались острее, не такими бесхребетными мякишами, а стремились отшельными раками к панцирному раю, облечься. Говорить все ещё не получалось. Старик протянул руку, и Илья начал подниматься, ватный, разбитый, тела он не ощущал, за исключением головы, обещавшей раскол на множество частей и тошноту мыслями, становавшимися юркими и путаными.

— Погоди, погоди, сейчас воды принесу.

Но Старик, как оказалось, не собирался совершить благодеяние, напоив мальчика. Пока Илья раскачивался на непослушных ногах, Старик зашёл ему за спину, а потом

окатил... Вода была горячая, по ощущениям склизкая, какая-то муть.

— А-а-а!

— А? «Что вы делаете», то есть?

— А-а-а!

— Ох, извини, пожалуйста, старого дурня, горячо? Я-то сам привык. Старость проклятухая. Боль уже прошла. Ты лучше сядь-сиди, вообще я могу тебя подвезти, только сейчас за лошадкой схожу.

«За лошадкой? На рыбалку с лошадкой? А где удочка? Да и где рыбалка, в луже, что ли?» — ещё больше удивился Илья.

— И тут под ним пала лошадь, хи-хи-хи. Говорят же: «Не собирайте себе сокровищ на земле». Шагом шарм! Ну, лошадка, давай поднимай свое ленивое седалище и задорно: цок-цок-цок.

«Никакой лошадки нет и в помине. Следовало ожидать!»

— Ох, мой смутный-беспутный, давай я тебе помогу!

Старик схватил мальчика за подмышки и водрузил в старую ржавую тачку. На голову надел мешок.

— Христе-Сусе, а он и не знает, моя наивная бархотка! Знай же, есть среди наших предков такой род бедолаг, которым при жизни не приходится насладиться этой самой жизнью. Как бы они ни старались, у них ничего не выходит! Конечно, до недавнего времени мы жили в Империи, где всё возможно. Но, дружище, поверь, в жизни таких людей всё шло так же. У них единственная возможность прихорошиться — через детей. Скажешь, что сами по себе дети — счастье? Но этим славным типам нет никакого дела до детей... да, забыл, в основном, это мужчины. Нет никакого дела, хи-хи, они переполнены злобой и мстительностью, они постоянно готовы психически лупцевать детей. Они как цветики-неудачники, что растут на каком-нибудь не видном для человека уступе; единственный шанс им показать себя, представить, так сказать, экранировать в мир побед и успехов — ветер, разносящий их семена по обширному миру. Так и ты думаешь, что родители — это нечто вроде «Комитета за Уходом», «Главной няньской службы», «Бригады вычесывания волос

и завязывания слюнявчиков». Дружище! Ты не прав! Прости, что не даю тебе слова, тебе ещё придется научиться говорить по-новому.

III.

Валю трясло, он не мог понять, где он находится, что же произошло вчера, всё утро, как ушибный сон: похороны, кладбище, свалка, безлюдность, да, безлюдность, пустота кругом. И сейчас ничего не намекало на человеческое присутствие.

Выполз из-под осиянного кустарничка — убежищного места, осмотрелся, поеживаясь от страха, мало ли какой беспутный заскочил в лесок — время тяжёлое, время «ух», время «эх» — так себя настраивал. Эхал и ухал, для настроения боевого, хотя скрывался, протираясь, пробиваясь в тени, протискиваясь под суровыми, будто совьими, завываниями-завогами.

«Эй, засовы помощников! Кто найдётся, кто спасётся, кто спасёт пустое брюхо, кто найдёт заветный ход?» — как заклинание шептал мальчик.

Слова зачестили, как трассеры — светящиеся скоростные малютки в беспомощное далеко. Казалось, что преследователи плюнули на Валю, призраки-дураки, гремя костями удалились: «Отвернись — не мы тебе! Нужны? Не ты нам! Нужен? Себе чужой теперь, чашобный хвост, хрупкий хвост».

Значит, можно устроить привал. Но всё равно страшно: вспорхнёт рядом птица, прошуршит мышь, прошелестит ветерок или раздастся стихийный щелчок, мелькнёт болотный огонёк, блуждающий. Насобирав веток и мха, натянул безразмерную футболку на голову и тихонько-легонько опустился в ямку укромную. Как в лодочку. Сухая кора, робкие листья. Закрыв глаза, сначала светло — первоэкран, а потом пестрядь скользит: то ли бабочки, то ли воробушки. И всё жалуются: «Тепла больше, тепло бы». Скрючившись, вытащил из-под футболки руку — проверить, жив ли?

Себя ущипнул, ощупал лицо: шишки, ссадины — утрусждения несчастья, на сморщенный лоб волосы откинул; пытался растереть щёки, хоть пальцы не особо помощники — заледнели; ощупал и шею — странно, шрам был, а теперь нет.

К полудню Валя добрался до своего дома, неказистого, с щербатым фасадом; во дворе было пусто, но гремели огромные солдатские качели, раскачиваясь от ветра; дряблая листва покрывала рыхляк песочниц. Боязливо зашёл в подъезд. Под лестницей, где раньше спал бездомный (мужчина не без вежливости), лежал мешочек с сухарями. Сухари рассыпались. Стал подбирать с грязного, бьющего по носу запахом нечистот, пола. Мало, этого мало.

Нищие в ту пору детства ещё ходили по людям, выстукивая прошение в двери. Впрочем, рады были и корочке, всегда при них мешок с ржавелыми, пыльными сухарями, перестукивающимися слабой плотью, как слепые зверята в животе у самочки. Скукожены и похожи. Нищих Валя боялся. Малым он не дотягивал до глазка, поэтому смотрел в замочную скважину, притом страшась — того только и ждут, выколют глаз. Рептильным когтём, отвёрткой, шилом. Отмычкой страшливой. Вполне может, что и глухие стучат, стучат во дворе кулаками по раскидистой простыне на мокрых ветвях изгибистого дерева.

Поднялся на третий этаж, родной: двери распахнуты. Зашёл в свою комнату, занесённую белым, будто ледяным, песком. Листки из школьного дневника, подпорченные влагой, — повсюду. Окна побиты градом, и на ершистом, занозистом подоконнике — иней. Отыскал бабушкину шаль, мамин шарф. Закутался, сжался. Родной запах. Запахи, запахи, умеют ждать и обнадеживать, пусть умерли цветы и забугрились фотокарточки. Потом уже спал в отцовской штормовке, в защите от сквозистого свиста непогоды, зарывшись в бумажные камни, книги. Книги, листы скомканные — повсюду — гордое чрево домашней

библиотеки взбаламутило. И снилось, как трескается недавно проложенное в Центральном районе шоссе, как прорываются далекие корни, змеящиеся, чёрные, прямо через могилы; полчища неизвестных толпятся, проходят через воздушный мешок подземелий под городом. Ночами иногда чудится пёсий рык, собаки-подранки вылизывают друг друга и воют, взвизгивая, будто от удара слюдяной стрелы в спину.

Непрестанно волочился сон прелой плёнкой из фильмоскопа.

Сон странный волочился.

Был день выборов, важный провинциальный праздник, в холле музыкальной школы играл оркестр, раздавали сладости. Однако на улицах было опасно и нагло, «руки-брюки» — блуждали ватаги малолетних пацанов, жаждущих отобрать халявную еду, бонусное угощение. Валя стремился подраться с ними, размахивал руками-пропеллерами, старался и словесно задеть: «Вас подкупили, власти подкупили». Однако — странно — ватаги разбегались.

Вскоре на площадь перед школой подъехал автомобиль, и оттуда важно вывалился Кандидат-Депутат. Кандидат, однако, не спешил к толпе, издавая щёлкающие звуки, он придерживал дверцу машины и пытался извлечь из салона какую-то коробку — не получалось. Люди зашептались, завозмущались. Высоко подняв палец вверх, Кандидат объявил тишину. Люди пошептались, повозмущались и затихли. Коробку достать всё-таки удалось. Из коробки Кандидат извлёк крота, змею и два яйца, одно почти прозрачное, второе окаменевшее.

Объявили конкурсную программу: необходимо было рыться в грязи и искать там призы. Один мальчик, рыжий и взъерошенный, нашёл два гнилых огурца, спички, фонарик и нож. «И что же ты выбираешь? Спички! Тогда зови отца».

Из толпы вышел низенький, взъерошенный мужичок. Коробок открыл, извлёк спичку.

Смеясь и чертыхаясь, попробовал мужичок огонь из спички вызвать. Ничего не получалось. Отсырели, что ли? Наконец... Как только спичка вспыхнула, из опустевшего ларца-коробки выпрыгнул тигр, он надул за считанные секунды, проглотил мужичка. Окутал жертву как чехол, хвост торчком, морда трётся о площадь. Когда тигр переварил несчастного, то заметно уменьшился и, скуля как обиженный щенок, покинул праздник.

В мальчишке, рыжем и взъерошенном, тоже проявилось что-то тигриное. «Я отомщу за отца!» — вскричал он.

Ему, как и отцу, предложили взять спички, на что он: «Я зажигаю свечу только сверху». Выпластывает язык, достаёт из кармана огарок свечи, зажигает и в рот — гаснет. Тогда, посоветовавшись, Кандидат, крот и змея решили взять призе́ру причитающееся. Крот устроился у Кандидата на коленях, змея обвила шею, а в ладонях он держал по яйцу. Разрешили выбрать одно из яиц. Мальчик схватил окаменевшее и начал колотить его о булыжник, ничего не получалось. Только искры.

После этого поручили «ватаге» похитить и убить победителя. Дурак, бунтовщик. Валя помогал ему скрыться, исчезнуть в лесной стране, дорогу куда показывали старики-калеки, превращающиеся в юрких зверюшек. Вместе они забежали в церковь, ударило, задуло, на пол опрокинуло со стеклянной неразберихой. В церкви поджидали другие зверьки, Валю связали, а его спутника принялись чествовать, под купол подкидывать. Спутника поволокли в алтарь, а Валю, связанного, зверьки потащили на колокольню, поместили внутрь колокола...

Раздался напряжённый звонок в дверь, ещё один и ещё, разбудили, розыгрыш, шутка, что ли? Звонить перестали, но зовут, зовут, приглушённо, и шёпот пыточными каплями бьёт по макушке.

— Не заперто, — зло прокричал Валя.

— Нет, войти я не могу, не велели.

Пошатался к двери.

— Вот вам просили передать, это записка о вручении, они, может, и сами... Не знаю когда, главное — дождитесь!

— Ты?

— Извините, мне идти надо, так сказано было.

— Тебя нашли всё-таки, откачали, в больничке был? Я сам уйму времени потерял, — Валя заговаривал язык, не желая гостя отпустить.

— Нашли, нашли, но мне пора, до свиданья... — и посыльный быстро сбежал по лестнице

Валя хотел броситься за ним, но липкий парализующий сон снова одолел...

Проснувшись, пробрался на кухню: ветер буравил штору, шоркал жёлтый потолок. Мальчик просунул голову в форточку: сморкалось небо, отхаркивалось, и падали пичуги-перевёртки, пораненные грозовой злостью. Потом появились птицы и более сильные, их, наоборот, будто выдувала земля, чумазах. Одни пищали жалобливо, другие трещали назойливо и угрожающе. Чем же питаются они, прорва такая? Жутко. Занавесил окно. Подождал. Снова раздвинул штору: пернатые, большие и наглые, копошились в земле, трепали обнажённые корни, древесные сухожилия. Пряные бараки, жалкие лачуги, которые мельком оцарапали Валино детство, с медленным скрипом-хрипом вздымались из-под земли. Трещали доски, резко хрустело стекло на пару с домами, прорастали и деревья, такие же смурные, в грибных язвах, с болтающимися на хилых гвоздях скворечниками. Нет, никуда не выходить, к псу всё это. Никуда, никого — город весь вышел осенними катакомбами. Пережду, обычное землетрясение, просто остальных эвакуировали, а меня забыли. Эх, забыли, вот какова их забота! Остальное — чушь, мираж собачий, болячка, горячка и голод.

Он закинул кухонный стол ватным одеялом и затаился в укрытии. Долго-надолго? В окно будто камень задуло, засипело: «Не выходи, дур-рачок». Засмеялось: «Не выходи, ди-ди-ди, попрощайся». Валя выглянул из укрытия: по верхотуре серванта скакал снегирь, давно не видел снегирей, странный снегирь: двигался механически, будто кукла.

«Н-н-е вы-хо-ди, что те-бе ска-з-з-али? Дож-ди, ди-дись! — Клюв его двигался медленно, со скрипом распахивался. — Я последний, себя ради, из было чего, было собрали-то».

Валя привстал пригляделся. «Слепирь, снегили из того, шили-шили, гири-гири, горька ягода — бери зимой! По-мню! Вот, мню ради-ради», — пошатываясь, напевала птица, курсировала по кухне, важно-красногрудая, упитанная, неуклюжая. Аляповатая, будто размалеванная ребёнком или наивным художником-неумёхой. Потом снегирь стал расти. «При-дут, при-дут, при-дут». Голова раздувалась, клюв втянулся вовнутрь ехидной морды, тельце принимало форму идола со смеющимся, ждущим лицом — неведомо чего. «Ждут-несут, подними меня». За занавесью утихло. Валя задремал.

— Валя, ты дома? — проснулся он от жужжания расстегиваемой молнии на сапогах. — Ты поел? Молчи-молчи, да я-то знаю: тут ты уже... ох ты ж, надо же и гости у нас, а дома шаром покати! Ой, какой красавец! Кто это у нас?

Мама была молодая, такой он её видел лишь на зернистых фотографиях в фотоальбомах.

— Гостя угости, — вдруг рядом с Валею раздался сердитый хрип. — А ну,пусти... пустите, балаболы! Дайте гляну, ишь баской какой! — из кладовки в прихожей выползла бабушка.

Валя удивился: до этого она много лет не ходила, была парализована.

— А кто из них-то Валя, сыночек мой?

Валя был тёзкой отца. Мальчик стоял в углу и не мог пошевелиться, застыв с открытым ртом.

— Два тукана-истукана, — произнес идоло-снегирь.

— Пусты, Верка! Ко мне он пришёл, заждалась я, ну уж идите-идите. А ты, невестка, не смей, не тронь, не прикасайся, окстись! Сын, забери бес тебя! Помог бы матери! Ну что же ты, Валя, не выходишь?

Потихоньку бабушка успокоилась, села в своё любимое кресло.

— Знаешь, стала задумываться, никак не отпускает мысль, мол, живём-живём, трудимся как пчёлки, а потом всё! Конеч, что там дальше? Ради чего?

— Ты что, даже думать не смей! — встрепетнулась мама.

— Да это не я, а дочка, так сказать, огоршила: «Мам, а, мам, не могу так больше жить», потом это на меня перекинулось, зараза какая-то. Решила съездить к бабке, знающая у нас тут живёт, помнишь? Вальку ещё водили, от испуга лечить.

— Ну а дочка что? Про Виталия хоть спросила, ухажёра-то своего?

— Нет, подцепила какого-то полковника. Да он оказался, выхлыстом, обычным пьяницей, только ухоженный.

Внезапно из комнаты родителей раздался голос отца.

— Здесь я, здесь.

— Ну так вспомогии старухе!

Он подскочил к ней.

— Мама, ты?

— А кто ж? Родная кожа — не свиная рогожа.

— Хорошо, — он подхватил её под мышки.

— Хорошо, Валя, теперь всё уже, затерпелась я. Неси.

Отец подтащил бабушку к идолу, который стоял посреди кухни. Бабушка ошарашенно смотрела в глаза снегирию. «Пойди ж ты, твою воротить. Ну и страх божий!» Вдруг идол вспыхнул, бабушка истерично захохотала: «Валька, смотри, смотри, вижу себя как в зеркале, ещё девчуга совсем».

Но отец, скользя, отходил во тьму коридора, где сокрушенно пиликал телефон...

— Да? Ко-о-гда?! Скорую вызывал?! Ужас-ужас-ужас!!! Я сейчас не могу, Валечка спит. Господи-и-и, как он перенесёт, он же так её любил. А где Валентин? Понятно, как всегда... Буди-буди его! Ох, ты сейчас, главное, не волнуйся, вдохни на три дня, потом выдохнешь. Когда обустроим, завтра буду с утра, по конторам — обзванивать... Господи, помоги, — Валя услышал гудки, перемежающиеся короткими всхлипываниями, но мама в комнату не вернулась.

— Ди-ди! Аля! Ерь-тепь! Ди-ди-ди! — смеялся истукан.

И Валя бросился вон из кухни, пытаюсь догнать отца, мать, но идти было тяжело: одревенели ноги, суставы на шарнирах точно. Оглянулся: на месте бабушки осталось лишь мутное пятно, а идол рассыпался на маленьких пылающих пташек, они окружали мальчика, у каждой в лапах было по угольку, и они пикировали, жужжали, будто готовясь сбросить бомбы.

Очнулся Валя у дома в куче щебня, камни царапались, кувыркались, выговаривая свои бесстыдные желания, в голову заползал чужой гул: «А, что? Это мы куда? Это нас...» Потом утихло. Сверху — тепло: ощупал спиной отцовскую штормовку. Попытался ползти, повторяя слабо прижитое на языке: «Отче, отче, помоги!» Нет, не так. Высунул голову: светло, небо ясное, приветливое. Рядом стоял человек, бродил, разбрасывая ногами робкий мусор, иногда присаживался на корточки, снимал шляпу и что-то бормотал в неё. Окрикнул Валу.

— Ну что, салажонок? Не боись!

Ежась, Валя сделал шаг, покачиваясь на краю овражка, рядом шипел ручей.

— Что это? Что случилось?

— Что случилось, что случилось, куда все отлучились, — передразнил он потеряшку. — Куда же вы, куда... Что тоскуешь, пацан?

Он скрипя засмеялся, не оборачиваясь.

— Стой! Молчи! — вдруг резким, хищным рывком выхватил что-то из речушки и тут расслабленно произнёс. — Скучаешь-маешься? Голодный, небось, — повернулся к Вале, приподнял голову, проглотил рыбу, как змея, как амфибия.

— Смотри: выздоровела река? В ваших реках уж полвека нет ни рыбы, ни тины.

— Где моя семья?

— Моя, семья, всё я да я, ничего, сейчас рыбы наловим, ты же голодный, не отрицай, голодный, холодный, а вякает, спрос держит.

— Это всё Вы, Вы всё подстроили!

— Ты не горячись салажонок-сапожонок, ишь! Как тебя? Как сморщило! Выводы он делает! А сам без обуви, еле ползаешь. Теперь давай по серьёзке. Я на службе, всего лишь служба. Без обид. А семья, ты чего им желал, что в уме жевал? — снова рассмеялся он. — Нет всё же, давай по-взрослому. Ты всё ещё в осадке Великого Предшествования, воспоминания — это изъясляющий, извилистый голос в тебе. Вот и теперь ты всё ещё в толчее почтенного праха, из праха в прах — усталость. Но будет лучше, легче. Иссаякнет болезнь, страх иссохнет.

— И всё же я бы хотел узнать, что с семьёй моей случилось.

— Эта семья... это не было семьей. Семья! Ты хотя бы помнишь их лица? Помнишь? Забудь. Пагуба. Пара: самец, самка.

— Я...

— Чушь! Прекрати свой лепет. Война осиротила тысячи детей! Что с ними? Всем им нашлось применение! Послушай, ты долго отсутствовал, но уясни и признай одно — почва смертна. В течение жалкой своей жизни прямой человек — не такой бесхребетник, как ты — чувствует, что почва с каждым шагом иначе шелестит под его подошвами, ступнями. Шепчет, втолковывает, кричит. Теперь она замолкла. Но смерть ли это? Она больна.

— Кто больна?

— Земля больна...

«Твердокаменного наглеца, твердолобого балабола надлежит отправить в воздушные ясельки, но сначала бы тебе полетать как шару-шайтанчику над родной землёй. Мы машины уже запустили, но стараемся быть мягкими. Смотри-ка, ты ведь не ревёшь, волосики не рвешь, не рычишь, не хнычешь, соплями-воплями не исходишь. Ты тверд, это можно уважать, но ты себе представить не можешь, на какую суету и мороку ты обрекаешь нас. Ты должен быть воздушным, вольноотпущенником, должен подняться в небо», — думал о предназначении мальчика Старик.

Старик подошёл к мальчику, пристально посмотрел в глаза и начал дуть. Валя попятился и кубарем покатился со склона, прихватывая по пути сенные меты, репы, жучков-паучков. Падение должно было окончиться

быстро, в начале склона стоял дом, невообразимо образина серая, хоть и был покрашен жёлтой краской, но остановки не последовало. В кружении Валя заметил, что появились суровые кусты, деревья повыше, трава возгорелась под ним, и он стремился придать себе скорости...

IV.

Так Илья поступил в услужение (и в обучение) к Старика-Старьевщику. Первые дни мальчик провалялся в кровати. Когда он проснулся, Старик тут же подбежал, кормил его сладкой кашей с мёдом, поил тёплым молоком... или чем-то, похожим на молоко. Оно явно было не козье, не коровье, не овечье, но вкусное. Хозяин не говорил, только улыбался, потешно пританцовывал и странно цокал языком, как птица. На третий день мальчик засмеялся над потехами Старика, тот же прямо расхохотался в ответ. Ещё через день Илья встал раньше обычного, ему захотелось продолжительно бодрствовать, он замычал, и снова моментально подбежал Старик. Теперь мальчик смог рассмотреть убранство дома: на стенах кругом разноцветные коврички, дуделки и сопелки, луки-крюки, изящные грабельки и лопатки-копалки. По углам — какие-то странные — магические? — приспособления. В центре большой старинный котёл, уходящий ножками в землю. Парад потерянных вещей, парад вещей приобретенных.

— У-у-у, наш большой плюх проснулся! У-у-у, давай скорее, ещё можем успеть, они уже отча-а-а-ливают. Будто небо — это море, хи-хи. Птицы — на Юг. Хотят удрать. В области недоступные, несусветные!

«Почему ж он продолжает говорить со мной по-человечески, почему он такой болтливый?» — вопрошал про себя мальчик.

— Бож-тыж-мой. Ты небось думаешь, что сейчас к тебе подскочат белочки-наседки? Держи холодный карман шире, друже. А слова пока — кышь!

Старик и сам не знал, что обеспечивает ему столь продолжительное существование. Прикажи прошлому — отцепись! — и ничего по-летнему греющего не будет — только делянка со множеством пней, разной высоты и ширины, чьи целлюлозные наросты выдают возраст. Старик переходил от пня к пню, вытягиваясь в зависимости от их пропорций, и пиршествовал. Но не было новых побегов, растущих на мертвизне, скорее он сам становился подобным дереву. Однако это не объясняло его затянувшегося существования. Кто-то или что-то не хотело его отпускать. Это прикрытие — Старёвщик или Утильщик — не было в этом никакой любви к старине, просто связь и обязанность. Профессия, прикрытие, не приносила теперь ему уважения среди людей, его часто задирали мальчишки, если, конечно, могли его обнаружить. А раньше он был с ребятей в сговоре! Они ему — рухлядь, он им — зооморфные карамельки, печёные яблоки, магически-кубический рафинад. Тогда его назначили ещё на одну службу. Именно тогда, когда Старику начали доставаться на поедение ранние и ранимые души, он начинал сомневаться: был ли он прежде человеком, не тот ли он Голем из еврейских преданий, только более изысканной отделки? За существование своей души он не мог поручиться, тела — да, особенно в момент получения приказа: боль, скрежет в суставах, на спину будто взволакивали тяжёлую ношу. Нет, не было никаких видений, мистических озарений, алых огненных букв в тёмном небе, которые бы указывали имя следующего ученика. Кроме того, тело было ему подмогой в работе Оценщика, что составляла его основное занятие. Люди ведь только думают, что знают цену вещам. Всё это — один хлам, один сплошной хлам. Всё это — экспонат, один большой экспонат. Ведь всё дело в том, кто выбирает, оценивает, назначает.

«А Головастик должен сказать спасибо, что был вовремя подхвачен, а не отправился плыть по бескрайнему болотному океану, как первобытная слизь. Его стеснительность глубока, но подвижна; словесный завал — возможность создания новых миров. Мальчишка

аккуратно выдувает шар и способен нести его гордо на губах, как прозрачную ягоду среди птичьего патрулирования, без смешинки и страшинок. Но он так привязан к этому злобствующему головотяпу. Ох, хо-хо, это может быть опасным для меня, как бы всё не сокрушилось».

«Две мисочки, две мисочки, две мисочки — для кисочки», — откуда-то сверху донеслось. Теперь Старик поручил Илье работу. Ученик оказался в погребу, пол — ёжиком соломенных волос, прикрывающих по чутью старую досчатость. Тупички темноты, где за альковами тайны предупредительно свистит ветер. И на удивление в погребу было тепло, хотя Илья и никогда не имел дела с подземными помещениями, но слышал от Вали, что его отец провёл в подполье достаточно времени, прогуливая учебу, скрываясь от родителей.

По рассказам Вали, его тоже часто запикивали в погреб. Ему даже этого было мало, он соорудил свой собственный! Непрестанно он просил отца построить домик на дереве, вдохновившись телефильмом, где пожарники спасали сорванцов из убежища в листве. Но отец медлил, наверное, не желал, и тогда Валя сам выкопал яму, принёс туда деревянный люк для погреба, накидал листьев, пролезал туда и молчательно сидел. Рядом, меж двух любимых рябин мальчик укрепил ржаво-дранную бочку, там тоже лежал, старался не дышать, не говорить, не думать.

Земля. Чутья землю. Вода — кажется, грести. Погреб — это трюм. Валя засыпал его землёй, узнав, что шахты в родном горнячком городке затопили. Это пугало.

Безобидный старичок. Может, первое впечатление обманчиво? Постоянно носил он при себе радушную улыбку. К странным зубам Илья уже привык. Мало ли бывает. У них в Городе у всех проблемы со стоматологами.

— Ты должен ловить птичек и распределять их по буквам. Ловишь и упаковываешь. Никакой логики! Полагайся на ощущение. В точности не ведай, а то познаешь беды, хи-хи, — так объяснил Старьёвщик Илье сущность работы. — Если захочешь есть, ни в коем случае не принимайся за птиц. Приникай к темноте как к материнской титьке, хи-хи. Ну и я буду тебя кормить, по утрам и вечерам. А вообще развлекайся, слишком не траурничай.

— Хм, гм, не пмаю! — промычал мальчик, пожимая плечами.

— Хорошо, хорошо! Дам тебе подсказочку.

«И» — замкнутая ступень, ступор твоего заточения, положение желтушного больного в саркофаге, но готовься, уже загоготало.

«Л» — гля, стены смущены, одна отвернулась от тебя и порушилась в осеннюю бездну, но ты ещё слаб, друг, держась за подпорку, расслабься как масло.

«Б» — тебя перевернуло с ног на голову, ты собрался, приосанился как тростинка, но ты не можешь понять, «и видя не слышишь, и слыша не видишь», но через голову твою, через рот — поистине несказуемые, удивительные потоки, рокоты и токи.

«Я» — выступная подножка, а лик направо — «о дитя, будь счастливо в мире теней».

Понимаешь, о чём примерно нам могут рассказать буквы? Ловишь птичку и пеленаешь её в соответствии с тем, какой букве подходит.

Поначалу поток птиц был огромным, настоящий конвейер, дьявольская штукovina Форда. Распахивалось небольшое отверстие, там показывался улыбочивый рот старика, расчищающий темноту: «Принимай!» И птички валились, и все махонькие. «Принимай-принимай! Знай лукошки подавай!» А иногда было и так, с предупреждением: «Работает с перегрузкой! Широк поток щедрот. Имя им Легион».

— Клю-клю-клю.

— Текели-ли.

— Не спешить. Дождитесь своей очереди!

— Текели-ли.

— Клю-клю-клю.

Вечером третьего дня Старик не появился с едой. Подбадривающие комментарии про-

пали. Илью ужаснула мысль, что он останется в погребке навсегда, хотя он привык так бытовать и о былой жизни не вспоминал, мысли о доме, о семье рассосались, как флюс. Только вот друг... где он сейчас? Куда он пропал? Может быть, бросил его? Понемногу он осваивал говорение, понемногу выращивал слова для объяснения со стариком, поток птиц сократился, и иногда Илья будто даже скучал.

Уснуть не получалось: когда он смыкал глаза на ёжистом ложе, то ощущал боль в глазах. Будто Старик на расстоянии вздумал пилить ему веки. Нужно бы пошариться, пошарахаться в комнате. Преодолеть заслон темноты.

Но Илья боялся мышей. Их здесь почти не видел, да слышал часто. Собравшись духом, решил погрузиться в лабиринты погреба. Одна из мышей, особенно толстых, прежде чем взорваться, бросилась к стене и осветила своё неприкаянное убежище, огонь потух, осталась одна искорка. Искорка моргала, будто подзывая Илью. Тут он заметил, что в отверстиях что-то шевелится. Опустился на колени, потом растянулся на полу, из норы пахло не гнилью, но запахом пищи, свежим хлебом, домовитостью. Пространство искажённое, изуродованное, обезображенное.

Небо позднего октября, ещё не мишурное, но сурово-бутафорское. Илье мутно и страшно, смотрение принуждает, но, когда он вздыхает, молитвенно, вздох исходит из ртишка, и маленькой птичкой-тараторкой, пугливо повторяющей имя Илья, разрезает небесную дерюгу. Имя Илья как часть божьей стаи.

Смотри: окраина поселковая, знакомая.

Смотри: избушка.

Входи-смотри: кровать.

Мальчик на ней. Перейдем к познанию?

— Ой, кто это?

— Я способность! Ты же такой выдумщик, я решила тебя возблагодарить за подкормку.

Смотри: мальчик очухался, пишу ему несут, смотри на эти ладони. Илья, теперь можешь моргать.

Илья почувствовал, что если он от лаза, от чудоскопа отпрянет, то навсегда пропадёт, будто не существовало никогда бульварного подвала, Ученик стал отрезанной головой, тем

хохочущим кочаном капусты из ведьминой поклажи, что напугал Карлика-Носа. Кто-то не то чтобы злой, но безразличный, отфутболил его мудрую, ценную голову в тёмный угол.

Мыши — символ мира, где человек лишь малая суета среди сует многих. Со своей милиционерской свистопляской человек и не замечает, что мир его перетанцевал, и это не партнёрское танго, не дискотека, где танцоры рыцарски-методично калечат друг друга гантелями, нет, непрекращающийся танец живого. Животным доступны пространства, где человек лишь духовный кастрат.

В дверь постучали, но птичка-тараторка не ответила, стало больно в груди. Больше он не шар в темной бильярдной космоса, ожидающий удара, после боли пришло облегчение: меня отправили на своё место. Кто-то постучал, гость постучал. Ответа не требовалось. Гость и заходил будто и не одновременно. Он полз как квашня, частично он был за тридевять земель, просто одной трехтысячной, шел одновременно девятью шагами, везде оставляя парализующую природу закваску.

Избушка. Кровать. Мальчик так истощал, что легче вязанки хвороста. Вскоре он очухался, однако пищу принимал нехотя, испуганно озирался, мычал, не говорил ничего членораздельного, а однажды на настойчивые попытки впихнуть сквозь зажатые губы кусок мяса укусил палец благодетельницы. Тело его было неразвито, хотя было заметно, как девочка засматривается на вытянутое скуластое лицо подопечного, неподвижные безжалостные глаза, волосы, расцветающие в теплом убежище её ладоней. «Положимся, понадеемся на весну». Курносая девочка обмывала его, и он прошептал ей: «Спасибо тебе».

Картинка сменилась. Как в калейдоскопе.

Бессонницей жила, тревожилась сестра Илья. Во сне она стонала, ворочалась. Она кричала: «Идти, идти выси-выси». Гость появился, но Илья знал, что тот уже являлся. Не сразу. Будто по частям. Он доходил как квашня. Когда роса хищным капельками тянет слабые травы к земле потехи ради, он постучал в дверь, отец с матерью взволновались. Пока они совещались, начало светать: проснулась сестра и посмотрела грустными гла-

зами на зачин дня. Холод проник сквозь щели скудного домишки. «Пустите его! — вскричал Илья. — Я опередил гостя». На удивление послушно, как замороженный, отец отпер дверь, но Илья юркнул за сундук.

— Извините за беспокойство в столь ранний час, но я ждал, пока время накалится.

— Кто вы? — промолвила мать.

Он был одет в ладную, новую форму: начищенные ботинки почталыона, фуражка с высокой тульей, бушлат с пуговицами в виде птичьих голов.

— Ещё раз прошу прощения, мы уже знакомы с вашим сыном, мы, так сказать, уже заключили договор — он пойдет ко мне в учреждение, но нет, не формальности — юридически они соблюдены, — а искренняя заинтересованность в судьбе семьи, вашей семьи, не даёт мне права...

— Убирайся-ка ты вон, кто бы ты ни был!

— Отец, я должен...

— А ты! Ты замолчи! Я знал, что твой поганый язык введёт нас в неприятности. Мы с тобой ещё поговорим! Ник...

— Никчемный? Вы это хотели сказать? — улыбнулся гость. — Хотите вы того или нет, он больше не ваш сын, всё законно. Но я благородный человек... О, я вижу, и вправду, большая у вас семья, и вы так стараетесь прокормить всех — не переживайте! Извиняюсь, дочь — вижу-знаю — ваша серьезно больна.

— Язык как помело, посмотрите, заявился речи вести, да если принёс тебя шут какой, говори по делу. Ты же видишь, сколько хлопот! А ну, Илюшка, разжигай печь!

— Я повторяю, — гость, не слушая мать, переступил порог, отодвинул отца с кочергой — тот ни слов, ни движения. — Моё благородство лишь принуждает вам помочь, больная дочь исцелится, это было условием нашего договора с вашим сыном, ведь я сочувствую вашему бедственному положению.

Гость положил на стол туго набитый свёрток:

— Илюша, будь другом.

— Купюры... Целое состояние!

— Ах, Господи, нечистое дело!

— Дети, будьте хоть вы разумны, — он вынул из карманов сахарных петушков. Я при-

смотрю за вашим сыном, ведь, признайтесь, он в обузу вам — помощник из него никудышный, бродит целыми днями по окрестностям. Но... какой мечтательный подбородок!

Гость рассмеялся. В подполе вновь воцарилась темнота. А откуда-то сверху раздался голос.

— Ну вот и всё, твоё обучение закончено!

Ну и голод! Да и наконец-то дневной свет. Хорошо, что Старик вернулся. Он был в той же форме, что и в таинственной хижине, где дал откуп за ученика.

— У меня для тебя сегодня особенное угощение!

На столе четыре птицы, каждая в своей тарелочке. Первая птица — с обширной синей грудью в пупырышках, что перечеркивала диагональ жёлтого цвета. Вторая — с головой, вдавленной в грудь, сердитая на вид, вкус её оказался необычайно острым. Третья представляла собой скелет, на вкус отдающий содой. Четвертая птица, казалось, вообще не имела вкуса, настолько он был насыщенным, стоило лишь последовать зову — и вкус преобразался во влекомый.

— Поздравляю! Теперь ты официальный посыльный пограничья! Теперь говорить, официально разрешается. И не волнуйся, птицы не пострадали. Но я не советовал бы тебе лишний раз щебетать.

— Ого!

— И ещё одно: мальчик мой, боюсь тебя огорчить, но ты умер. Тем не менее, уж так вышло, что отпустить на вечные летейские луга я тебя пока не могу.

— Хм? Лен-тайс-кие?

— Смотрю, ты даже не удивился. Всё потому, что ныне ты свободен от привязанностей, хи-хи. Сейчас произошёл разлом иллюзии, этой мозоли на вечношагающей пяте бодрствующего мира. Дом, семья. Но ты должен помочь в этом и другим. Нет, здесь мы не одиноки, мы формируем новые резервуары, так называемые пузыри, где происходит обмен, так сказать, опытом. Видишь ли, в Пограни-

чье сейчас всё неспокойно. Кое-кто не желает, чтобы его земная жизнь завершилась. И это не в первый раз! Не устраивает его юдоль печали вечной! Ничего, ничего, мы с этим разберёмся. Ни о чём не беспокойся, мальчик, всё вернётся на круги своя.

Илья с пониманием кивнул.

Когда Илья вернулся из Города, прилежно выполнив поручение, то увидел следующее: над их со Старьёвщиком приютом нависала фигура огромных размеров мужчины. Казалось: вот-вот Великан, скаля зубы, сдавит их обиталище, будет тискать, словно лысого новорождённого котёнка, а потом гигантской ладонью сдавит и... но вместо этого Великан принялся ковырять в пузыре, защищавшем домик Старьёвщика, отверстие, птицы кружили у его шеи, как многоцветный шарф, а он смеялся.

Илья приник к отверстию, в страхе, что будет отброшен потоком... или же его засосёт во внешние владения Великана. Но Ученик начал поглощать птиц, не прожёвывая, в нём проснулся непомерный голод. Что за свирепость! Илья рос, раздувался. Гигант бушевал. Глаза его смуглились, он начал истошно махать руками, как крыльями. Птиц становилось всё больше. «Мама, предвечная дама, излечи», — слышалось писклявое стенание за спиной у талантливого ученика. Старьёвщик стремительно уменьшался.

«Мне не принадлежат полёты, вам не принадлежат конверты, но вы упёрты, упёрты, а нужно послушать ветер. Сейчас ветер благоволит, у-у-у, мой милый флюгерок», — великан набрал воздуха и дунул — поток птиц, пыли, мусора направился в сторону Ильи. Сейчас его сметёт! Но вместо страха неожиданно наступила уверенность, он понял, что его тело — иллюзия, плоская бумажная фигурка, он сам же является частью древней общности и разделяет со Старьёвщиком его наследие. «Всё хорошо, так и должно быть. Это происходит постоянно, непременно. Такое забавное обновление».

Раздался взрыв, нет, Илья ещё существовал, пусть и в другом роде. Нет, это быллой наместник пузыря, Старый Старьёвщик, умалился, стал размером с мышь. От него остался сноп пламени, он изживался, прожигал в подложке листьев дыру. Внизу, за белесыми разводами, виднелось осеннее небо и городской ландшафт с живописными лесами и горами.

Да, теперь всё кончится. Содержимое пузыря воронкой уходило вниз. Напутственная улыбка от Великана, всполох как разряд, треск, блеск, великолепно и вероломно — свершилось. Рёв — сломлен кров. Разжижает мольбы. Странно, а олух-то хихикает. Скручивает струи птиц в узлы. Всамделишный свистопляс.

Продолжение в следующем номере.

Барбара Гест, Джон Эшбери

Касание потустороннего

Перевод с английского Александра Фролова



Барбара Гест

Голубь

познавший округлую

форму голубя

падает детской игрушкой

миропомазанной.

другие коды —

как гранит где игрушка –
земля покорная –
 простирается
 лёгкость под клубами тумана.
«мы в свободных одеждах.
 и мы
 разбиты на интервалы времени».
 мосты-однодневки.
новички проезжают мимо. три фургона.
 полёт сквозных веток.
 колыхание.
повторяющийся –
 как идиома –
«их страх поглощения –
 общий масштаб»
что напечатано –
 определяющий лев
как музыка – ;
 обычные листья
сорванные – соразмерный ветер –
 опали.
и сюжеты песчаной пыли.
«вещь была любимой» –
 сцены со столом.

чрезмерная
идеализация. рамка с многослойной розой.

закат
 злоба в ржавчине
 лёгкое дуновение.
от воловьей плети.

 применённое
меловое крыло.
 сферическое
одиночество
 невидимое нарастание
«касание потустороннего»
 лишено тела без другого.
 бестенное.

на выступе — голубь сдвинулся вниз;
 спасается — в бодром прыжке
допускает нарост воронки — упреждение

действует более яростно в качестве яростного решения
набирает скорость

 за пределами персонажа
 за пределами голубятни —

полёт бездельника многослойный эмоциональный

суффикс.

«он может никогда не узнать почему»

Бумагомаранье

энергичное — под наклоном

ритмичный сдвиг слияние

отпечаток и время

ассортимент картона

основной

papier peint

блеклые чернила отображают

«узорчатый блеск

сквозь открытые двери»
на свежесобранном в студии облаке

нарисованный ворон

кормится хлебом отшельника

ржущая каракуля ученика взволнованная

из ножки ухо достигло глаза и

сублимированный глаз переводит взгляд

мир форели нейтральная форма

портал земли сквозь взгляд жабы

на

пёстром голубе

вода вне пределов ложки

Ожидание

(Erwartung: Schœnberg)

более чистая
чем глаза поддельная поверхность —

помятая арка — жало
в строгой одежде — с кучей динамита —
шнуром к отмелям — ;

зыбкая дымка разделяет —
ритмичный свод —

— единственное движение — увенчанное пурпурными холмами —
контральтовый сдвиг — .

вариации

замаскированное горло —

главный бугристый подъём
— средство усиления
сквозь отверстие — наклон

могила —
тросы.

— они колышутся — цепляют солому

цветная птица
лента вокруг узкой полости
сдержанный шум — накатывающий

— из себя
дымчато-белый регаль хроматический подъём
из себя
свободный.

наваленные обломки
важное место для
маскировки.

композиция базилика
на виду

непринужденная

облокотясь.

разбухание – побеленные балки – дыхание пространства –

затруднительное бормотание – болезненная нерешительность –

след кукурузного листа – слышимое небо –

между наследованиями – ;

акцентированная краткость – неестественное сердцебиение –

без назывательного виража –

чтобы ухватиться – деревянная ручка –

зауженная кверху – ;

щебёнчатый бесконечный пакт –

замусоренная октава – разорванная –

перемотанное колено – мутное – околдовывает прозрачное.

Гусиная кровь

высота деревьев

обернутые в бумагу покои –

щелчок с придыханием – тихо зовущий –

крадутся мужчины –

отдаленные движения

ведущие к разломам – не прочная шнуровка –

подъём –

контролируемая поверхность –

захваты — красно-жёлтая линия —

мешает птица —

прощупывание слоев —

изгиб края —

распростёртый по склону холма — серая панорама

продолжает второстепенное

надежда на выступ — близлежащий лес — вверх дном

километры — грубый край — отдаленное движение —

как фигуративное —

простираение признаков

ведет к разломам — достигшая верха расщелина;

эти интервалы выдерживаются —

рельефными разломами — отмеченными осыпями — Пустая линия —

Птица в красно-жёлтом небе — движение

входы в приют леса —

светлее чем ожидалось — высоту деревьев —

осознаёт фигуру

сейчас заключённая в сопобудительные узоры — издаёт

низкий звук — крадутся мужчины — открыт видеоискатель —

встревоженная листва

придержанная хлопком — перчатками — в поиске света
дикий цветок — отодвинутый —

продвижение сквозь.

опытный прыжок — на дюйм

в мозаику.

глазная чашечка —

зеркальный кубик — отверстие.

песочные шарики в —

хлопчатобумажных перчатках —

два охотящихся ножа —

тусклый блеск —

духовный гид —

под тремя арками — зелёная рука. впалые шарики.

«красная гусиная кровь»

Джон Эшбери

Мысли молодой девушки

«Сегодня такой прекрасный день, что я должна была написать тебе письмо

Из башни и показать, что я не сумасшедшая:

Я всего лишь поскользнулась на куске воздушного мыла

И утонула в ванне этого мира.

Ты был слишком хорош, чтобы много плакать обо мне.

А теперь я отпускаю тебя. Подпись: «Карлица»

Я проходил мимо ближе к вечеру

И улыбка все еще играла на ее губах

Как это было веками. Она всегда знает,

Как быть крайне очаровательной. О, моя дочь,

Моя дорогая, дочь моего последнего работодателя, принцесса,

Не задерживайся слишком долго в пути!

Два сонета

1. Дидона

Выделения организма становятся для него
Смертельными. Наша слюна
Убила бы нас, но мы
Умираем от своего жара.
Хотя я говорю вещи, которые хочу.
В них нет необходимости, их собственное пламя ощущает это.
Я обманут совершенством.

Бутылочка с йодом стояла в холле,
А за окном, над парком, по которому ползли родстеры,
Виднелись абрикосовые и фиолетовые облака,
И наша кровь стекала по ограждению
Кремового здания посольства.
Внутри играла запись «Сан-Луи-блюз».

2. Идиот

О как же мрачен, беспечен этот мир,
Не знающий обо мне ничего! Эти скалы, эти дома
Не знают прикосновения моей плоти, и нет ни одного дерева,
Тень которого была бы мне другом.
Я исколесил весь мир.
Ни один мужчина, которого я знал, ни одно дружелюбное животное
Не подходило и не тыкалось носом мне в ладони.
Ни одна горничная не приветствовала мое лицо поцелуем.

И все же однажды, когда я плыл
Из Гибралтара к мысу Горн,
Я встретил на борту несколько дружелюбных моряков,
И, пока мы боролись за то, чтобы корабль не затонул,
Сами волны казались дружелюбными, и звук,
Издаваемый брызгами от удара в нос корабля.

Redouté

Истинные розы вознеслись на желчном приливе вечера
И вьюнок усеивает нарастающий день
Овальная форма отвечает:
Моё первое — запоминающееся лицо
В обрамлении распущенных волос.
Моё второе — вода:
Я — решето.

Моё единственное новшество:
Вечная кара света
Над головами тех, кто был там,
И возвращение в ночь, кашель последнего лепестка.

После утверждения пурпурный должен сохраниться
Но остров коры всматривается
В свет:
Он печалится о том, что вызывает:
Слёзы, что испещряют пыльный небосвод.

Ночь

В тот вечер, когда я предложу тебе легкий аспирин смерти
Сапоги на фоне пейзажа золотого века
Ты не поймешь, когда я
Почувствую запах... не знаю
Теперь с противоположных сторон рисунка
Орех в честь его дня рождения

Наступление ночи приносит также идею смерти
Думал, когда ей исполнится шестнадцать... он пригласит ее куда-нибудь
Но это было бесполезно ... Шумиха началась
Из-за комиксов, как на сцене, что ты видел
Разрастающиеся на их клочках лавры. И после
Вынесли за лестницу и поставили их
На кухне ... цветы колышутся в окне
Всё же было как-то забавно ... из-за печи
Мы переехали в другое место. Забавно как восемнадцать лет могут
Всё изменить ... мрамор
Мы никогда не хотели уезжать
Но крыльцо продолжало
Вести себя покорно на серебристом ветру
Неизвестно откуда взявшемся... фарфор
Угу

Это было когда-то после
Однажды вечером мы все сидели одни
Кто-то прерывается ты слышал цветную флейту
Головешка лет выброшена в урну
Куча мусора .. билеты в постель
Женщины-детективы вся сцена
Мы займём стороны.

Они остановились на мгновение.
Его домовладелец вышвырнул его
Это был киоск с хот-догами

.....

Похолодало
 Выдумал мой мозг
 Это сделал инспектор
 Он бродил
 По парку в бреду
 После того как отрос клык
 Добавим, что вернулась посуда — цветы на ней
 Нейтральный свет на предметах
 Полюби его. Он фыркает. Такой и есть.

Испытал дом и
 Моё озеро и присел
 Надо, чтобы джин быстрее разливался по чашкам
 Под мельницей монтажа, как будто тебе было шестнадцать
 Среди оранжевых цветов висел бледный нарцисс
 Ты говорил аллигаторы роща
 Он выгнул прут из серого
 Совершенство рыбалку... серые розы самые лучшие
 И клумба, увитая фиалками
 Я так и рвался спросить тебя, была ли она в курсе
 Тюрем...
 Из кладовки, чтобы больше не возвращаться
 В комнату, где они в течение шести недель
 Постигали монокль... потому что письма
 Жалоба на список грустного газетного мусора
 Чтобы принадлежать мне.....

Это поражает меня... халат свободный
 Комбинезон на полу
 Серый и... тонкий. Ты — торт
 Доковылял, чтобы добраться в шикарный
 Магазин чтобы избавиться от арахисового порошка его тонкая
 Тросточка внизу возле магазина и пудреница
 Под подиумом куда падает слабый
 Свет как раз на этот участок
 Шум, который, ему казалось, исходил из его ноги
 Существует множество
 Различных ароматов
 Арахисовой корабль вплывает
 В пустыню
 Стенд... Велосипед
 Беседки рядом с шансом онеметь от удара
 На трибуне он забыл, что позади него
 Коридоры шёпота на полувлажной красоте
 Из зелёной бумаги большое
 Чувство
 Откуда форель родом
 Вывезенная контрабандой из юности и вросшая в дерево

Упавшая на полпути к дому
Чтобы пронести питомца
Над шторами с цветами около
Магии водных капилляров
Поднимись на дюну. . . выкрикивая её немую роль

Они отличаются, в зависимости от случая
Лосось покинул море, становясь постепенно
Слабым и бледным
Но он никогда не станет мухой
Он немой и ночь постоянно просачивается как водоём
Правды о бандитах
Он спросил рыбу, почему ей кажется...
Ювелирный, гладкий, и багаж
На следующий день, возле поручня
Приготовленного для ночи почтальон наклонился
Направив свой взгляд в траву
Я думаю, темнота ударила пальцем

Мы выросли прочь из этого. . . ожидая
Пруд тени
Возле костюмерной. . . И она вернулась
На окне подзывала муха
Пришли дети, и мы пошли в заросли шиповника

Любовь Соколова

Воспитание кота, или Последний день Помпеи



Сестра моя Зина, превосходная хозяйка, и как женщина превосходит многих, и, без сомнения, меня, по всем показателям, а главным образом бытовыми навыками, талантом и мудростью. Всё у нее в руках горит, за что ни возьмется, обязательно сделает наилучшим образом. На даче полный погреб заготовок различных, компоты, варенья, соленья, — это само собой. А вот завела она кота. Котенка подобрала бездомного, выкормила, вырастила, воспитала. Кот получился идеальный. Ест что дадут, спит где позволено, мышей ловит и на пороге рядами выкладывает, в тапки не гадит. Зина и мне дала совет, как поступать, если хочешь иметь в семье вышколенное домашнее животное, а не источник сюрпризов.

На самом деле Зина мне сестра не родная, а двоюродная, но это уточнение я делаю только для посторонних, когда надо объяснить, почему у нас с сестрой разные не только матери, а ещё и отцы. У Зины отца вовсе нет, хотя он в принципе известен и действительно был военным летчиком. Моя мама, которую Зина по-детски зовет «Кока», его помнит. И даже бабушка наша, которая ложь считает большим грехом, признавалась, что помнит Колю. Сама Зина никогда отца не видела, потому что на единственном сохранившемся фото от него остались одни только ноги в сапогах и галифе, остальное выцарапано, не восстановить. Снимок групповой, на нем и моя мама, и Зинина, и другие девушки, и другие курсанты, — всего семь человек. Попытка найти Николая П.,

предпринятая втайне от наших матерей, не принесла результата. После распределения куда-то на Север выпускник высшего военного авиационного института будто в воду канул. Засекретился либо на самом деле пропал без вести в каком-нибудь локальном конфликте. Сказали на Север, а послали на Юг или даже на Юго-Восток. Зина как будто не комплексовала из-за отсутствия второго родителя. Она жила вполне благополучно со своей мамой, моей мамой и нашей общей бабушкой Катей. Потом Кока вышла замуж, съехала из комнаты, родила меня, но продолжала принимать горячее участие в Зине. Она и внушила Зине — не повторить судьбу матери. Ни в коем случае!

Зина с задачей справилась. Вовремя, хотя и не без эксцессов, оказалась замужем. Муж достался простой, одним словом — не летчик. Токарь по профессии. Положительный, хотя изначально имел амбиции: красный мотоцикл «Ява», битловские патлы, полосатые брюки клеш и кассетный магнитофон. Зину он покорила особенным танцевальным стилем. Двигая тазом и плечами, наклонялся назад, пока волосы не достигали пола, крутил головой, разметая пыль, и силой пресса поднимался снова в вертикальное положение. Рок-энд-ролл длился недолго.

Токарь по имени Миша, сразу как женился на Зине, продал «Яву», остриг патлы и стал горячо осуждать молодежь, пожалуй горячее, чем тетки в очереди за молоком. Очереди всегда стояли на улице и стояли подолгу в ожидании подвоза молока, хлеба, картошки, кваса, постного масла или колбасы. Беременная Зина стоять долго не могла, а молодой муж с неожиданным рвением взялся ходить по очередям добывать пищу. Там и подцепил он жесткую мизантропию, которая с годами только усиливалась и главным образом касалась молодежи.

— Дергаются под зарубежную музыку на танцплощадках, смотреть противно, — брюзжал Миша. — Да ещё слова неизвестно какие в этих песнях. Антисоветское что-нибудь, а они дергаются, дурачки!

Миша вступил в народную дружину и стал дежурить на вечерах танцев в том же ДК, откуда его недавно выводили с милици-

ей за недостойное поведение на танцполе. Считалось, что рабочей молодежи следует воздерживаться от проявлений тлетворного влияния Запада. Зинин избранник до свадьбы от тлетворного не воздерживался, да и сама Зина фату надела, будучи на четвертом месяце. Я не понимаю, как это перерождение не привело к полному Зинину разочарованию в избраннике.

— Миша, ты ренегат? — спросила я однажды.

В школе на обществоведении проходили наследие Ленина. Мне понравилось, как он Каутского критиковал. Подумалось, вот и Миша тоже...

— Хотелось бы, — невпопад ответил Миша. — Но где же ее возьмешь, яхту-то? Ренегаты — для капиталистов, эксплуататоров трудового народа. Всё у них, а я на море даже ни разу не бывал. Жируют. Мы — люди рабочие. Потом и кровью. Нам бы лодку с мотором купить, чтоб семьей выезжать на природу.

Зина ждала второго ребенка, и слово «семя» в Мишиных устах звучало полновесно, почти как семеро по лавкам. Озадаченная реакцией на «ренегата», я умолкла. Зине речь мужа понравилась. Она добавила, понизив голос:

— Он заявление написал. В партию. Сейчас рабочих с руками отрывают в партию. Потому что интеллигенции желающей много, и перекоп. Принимают в соотношении один к семи. Стоят в очередь инженеры, пока семерых рабочих не наберут.

— Партийные в очереди на жилье быстрее продвигаются, — пояснила Зинина мать тетя Лиза.

— Я не из-за жилья! — напряженно возразил Миша. — Я за идею. Коммунизм победит во всем мире. Рано или поздно.

— Жилье пусть дадут вам рано, а то будет поздно, — настаивала тетя Лиза, измученная квартирным вопросом.

Миша и две их с Зиной дочери в то время помещались все в той же четырнадцатиметровой комнате, которую получил наш вернувшийся с войны дед и оставил жене, нашей бабе Кате. Оставил, уходя к веселой, молодой девке, окружившей его с полоборота, как говаривали знакомые, то ли

сочувствуя, то ли злорадствуя. Сверхзадачей для Зины стало не повторить ещё и судьбу бабушки, помещавшейся теперь на сундуке прямо под вешалкой. Сундук не позволял полностью открывать входную дверь, из-за чего оплывшая от родов Зина испытывала большие неудобства. В дверь ей приходилось протискиваться боком. А тут ещё я пришла и расселась в кресле между двумя стопками наглаженных пеленок.

— Ой, не надо, маманя, обострять. Помолчи уже, хоть при людях не нарывайся.

За «людей» замужняя Зина держала теперь меня, а ведь прежде считала своею. Обидно такое слышать. Зина, похоже, тоже ренегат.

Зачем я всё это помню? Да я не помню, а вспоминаю. Мозг выдает картинки из прошлого по запросу. Триггер щелкнет, картинка всплывет сразу в формате 3D. Пока не щёлкнет — лежит файл, не мешает. Психологи так работают с «вытесненными травмами подсознания». Найдут кодовое слово, вызовут воспоминание, расшифруют и — вуаля! — прощай, депрессия, пациент здоров, готов к труду и обороне. У меня при встрече с Зиной таких картинок выскакивает по десятку на каждое слово. Потому и на здоровье не жалею, по крайней мере на психологическое.

Выполнив задачу и сверхзадачу, преодолев посредством удачного прочного брака с Мишей судьбу своей матери и судьбу нашей общей бабушки, Зина вырастила дочерей, держала мужа до пенсии. Купила дачу — чтоб не лежал Миша на диване, а имел смысл и занятие на каждый день заслуженного отдыха. Затем похоронила Зина мать и наконец позволила себе кошку. Кошку она давно хотела, а Миша был против — от кошки шерсть и блохи! Но мыши, портящие дачный урожай, сделали свое дело. Завелся — прибил, прикормился и уже не выгонишь — кот. Зина его даже кастрировать не стала. Он и без того порядочный. Во-первых, мышелов, во-вторых, место свое знает, не ворует, не лезет куда не велено. На стол ни ногой, даже когда хозяев нет дома. А моя кошка как раз любит сидеть на столе, и это у нее с детства, с котячества. Чуть хозяева за порог или зазевались, она —

на стол. Оттуда ей всё видно — и в комнате видно, и в окно. Я бы и сама тоже там сидела. А Зина не одобрила. Говорит, есть надежный способ даже взрослого питомца отучить от самой закоренелой дурной привычки.

Зина в течение нашей с ней жизни многократно превзошла меня во всем, она и селедку сама солил, и морковь выращивает громадную, мне по локоть. Зимой, когда для дачи не сезон, в хоре поет, причем солирует. За пять лет до пенсии понадобилось для работы выучить английский. Выучила, правда, только письменный и только в рамках профессиональной лексики, но ведь выучила. Поэтому я поверила, что средство для воспитания хороших манер у кошачьих Зина знает.

Я говорю, как? Она говорит, купи мягкую игрушку. Принеси домой, пусть они попривыкнут друг к другу. А потом накажи игрушку так, чтоб кот увидел. Он поймет и не станет пакостить. Я, говорит, своего так отучила на стол лазить. О том, что кот когда-то лазил на стол, Зина мне не рассказывала, скрывает косяк.

Я говорю, давай подробности. Она говорит, записывай:

— Купила игрушечного кота в «Детском мире», мягкого, из искусственного меха. Цвет подобрала подходящий.

— Кошки вроде всё черно-белым видят?

— Всё же лучше, если цвет похожий найти. Мне подошел полосатый, классический. Посадила его на стол и ушла. А сама подглядываю. Мой кот тоже на стол вспрыгнул. Я как закричу, пшёл вон! Схватила игрушечного кота и давай его лупасить. Мой в ужасе под диван забился. Потом еще раз так сделала. Потом уже мой кот на стол не прыгал, а игрушечного я там как бы «ловила» и била.

— Как ты его била?

— Башкой об стул.

— Не поняла...

Зина взяла полотенце, сложила его втрое и показала, как била об стул воображаемого игрушечного кота.

Полотенце и сработало. Триггер — хоп — в памяти вспышка:

— «Последний день Помпеи!» — говорю.

— Ага, вроде того. У кота башка оторвалась.

— ???

— Ты что побелела-то? — воскликнула Зина, заметив мою реакцию. — У игрушечного, не у живого.

Смеется Зина, полотенцем помахивает. А я всю картину мира заново пересматриваю, хотя дело вовсе не в коте.

— Так что давай, пользуйся ноу-хау, — подбадривает меня сестра. — Я в интернете вычитала. Кстати, рецепт селедки тоже там нашла. Теперь у меня все спрашивают, как я такую селедку вкусную делаю. А это просто, соль плюс сахар...

Зина встряхнула полотенце, повесила его на крючок. Улыбнулась:

— Что ты про Помпеи заговорила? Будто испугала я тебя.

А я стою как пришибленная, прозрение переживаю.

— Помнишь, на дверце шкафа у вас висела репродукция из «Огонька», — говорю. — Я сейчас только поняла, почему боюсь этой картины. Понимаешь, не извержения вулкана боюсь, а именно этой репродукции. Я даже когда в Русском музее была, пробежала зал с «Помпеей», меня будто выдавило оттуда. Я когда её вижу, будто дыхание останавливается. Много лет, всю жизнь! И только сейчас поняла почему.

— Ну... — Зина замялась. — Припоминаю. Красный шкаф был. Мама называла его «шкаф красного дерева», а он фанерный крашеный. Ох, как мы жили... нищета, теснота. Да тебя ещё Кока привозила. Как поссорится с твоими, так и везет. А куда нам, нам и положить тебя некуда было. Кока с дядей Юрой где-то на Висиме угол снимали, а там с ребенком нельзя. Ну тебя-то мама любила. А ты, значит, картинки этой боялась? Страшно конечно, люди голые, огонь со всех сторон, а тебе годика три было тогда.

— Да не в том дело, что голые и пожар. Я ж тогда жила у папиных родителей. Деда с бабой меня вообще ни за что не наказывали, голоса не повышали, я даже не знала, что детей ругать можно. А в тот раз мы с тобой как-то неудачно поиграли, разбили что-то или рас-

сыпали. Так вот, баба Катя пришла и увидела, как мы напроказничали. Разозлилась и стала тебя бить полотенцем. Точно так же кухонное полотенце сложила втрое, ты визжишь, она за плечо тебя держит и хлещет по голове со всей силы. Как раз под этой репродукцией лупасила и за волосы ещё оттаскала. Хорошо, башку не оторвала, как ты коту.

— Игрушечному! — уточнила Зина. — Ничего страшного. Полотенцем ведь не ремнем, не очень больно. Ради воспитания. Зато человеком выросла.

Нотку превосходства в Зининых словах я уловила, да пропустила мимо ушей. Что выросло, то выросло, как говорится, не вернешь упущенного.

— А ты своих девчонок била?

— Что значит, била? Скажешь тоже! Отшлепать за дело — это не бить.

— А ведь я «Помпеи» боялась всю жизнь из-за того случая. Даже когда по истории проходили Древний Рим, мне про Помпеи читать и слушать не хотелось. В учебнике та же репродукция напечатана. А всё из-за того, что видела сцену насилия на фоне репродукции и связала то и другое. Подсознательно!

— Ага, и у нас ещё все смеялись, когда ты заявила, будто у тебя есть бабушка родная, а бабу Катю пусть Зина забирает. Мама с Кокой думали, ты добрая, и бабу Катю мне отдаешь, потому что у меня отца нет. А ты, значит, не от «добрости», вот ты какая, значит.

— Я что-то за кота твоего опасаясь. Такой кошмар пережить...

— Нормально с котом. Ходит по струнке, как шелковый. Нигде не гадит. Так что давай. Применяй методику.

Но я свою кошку пугать не стала. Пусть уж сидит, где ей нравится. А то откажется от меня как я отказалась от бабы Кати и лучшей картины Карла Брюллова. И ещё меня занимает вопрос, как так быстро Миша, женившись на Зине, переделался. Другим человеком стал. Вот что значит попасть в руки опытной женщине, будь ты хоть котом с помойки, хоть токарем при мотоцикле и клешах.

Павел Автоменко-Прайс

Для камер видеонаблюдения



фильм никки

1.

каждая секунда растворенная
в чайной ложке забытых перверсий
мою темницу пытается выдавить потоками
нахлынувших дождей

обнажает сам себя гнозис
размотанный и вывернутый наизнанку
по следам великих
по осколкам лопнувших пробирок
с диэтиламидом лизергиновой кислоты
и бензодиазепинов

2.

все времена – неправильные
прошедшие настоящие будущие

3.

табуированными
симптомами и затруднениями дыхания
проявляются
прецеденты современных историй
семимильным смогом сквозь пространство
мёртвых дорог
и договоров заключённых
по молодости (so young so blue)
в беспамятстве с совестью

просроченных
и улетучивающихся
прошлогодней листвой
выжженной за городскими свалками

4.

все мои слова – тщеславие
фикция собственных недостатков
изгоняемая святым духом редукция

что держит плоть на плаву
как сотни рук держат лодку за край
отчаянно пытаюсь её раскатать

выкачать из пробоин
в психическом остатке бесчисленных
переживаний

одного и того же типа
совершенно новое что-то

готовое к публикации
на первых страницах
протыкаемых ржавыми
вязальными спицами

вылетающие через окно волкодавы
цепи сковывают сознание Господа
из машины отцовской старой

5.

на море
двадцать
восемь вершин
из которых одна
обязательно нарушает
общую идиллию
идею и иерархию

6.

слава отмене ментального изнасилования
в пустых переулках
около баров меняя кнут на пряник
побег на клетку страх на расправу

слава отмене постановления
на ситуацию [вернись назад]
мысль [возвращайся назад]
эмоцию [вернись ко мне]
реакцию [возвращайся назад]

7.

апострофам нашим апостолам
плохо плохо плохо в чертогах
коллективного бессознательного
бессонницы в лесах брянской области
колеса обозрения
внезапных атак на высшее знание

8.

никак не идут на поправку
готовы к отправке и отгрузке
на освящённых складах
но нигде больше не появляются

зачем тыходишь туда
откуда выхода изначально
нет и он в своей сути и не предоставляется?

[вне зоны действия]
пассивно-агрегатная трата жизненных
ресурсов на кислород

[вне зоны общего доступа]
размеренный режим сна и питания
[вне зоны зависимости]
расследование по периметру помещения
усталости и закольцованных моральных
установок [вне зоны комфорта]

9.

в связи с расширением сознания
в связи с накалившейся обстановкой внутри
строгих рамок разума

клетки поиска сказанного
и никогда не произнесённого

вознесенные на планеты
рухнут семенем раздора
на наши печально известные
земли бесплодные элитовские

10.

фильм никки был правдой

абсурдной

но всё же личной
драмой или комедией

которая всегда заканчивается одинаково

видеонаблюдения

чужим искуплением

чужими трагедиями

разрывающаяся

с уважением киста в её голове

капли крови животных

на её бессмертных холстах

в её фотографиях — правда

очередной пойманный взгляд

принятый чересчур серьезно

в соку исконного образа

расплескался по лугам володарки

моя подчеркнутая невинность

и легкомыслие в общей форме

ведут к разлому и принятию

11.

отрицать смирение — невозможно

отрицать непринятое — не принято

и порицаемо уголовно наказуемо

один на один раз на раз

пропуская всё через себя

неприятное вытесняется ощущением

из детства

игрой в прятки среди изящной темноты

квартиры

12.

вламываясь в дверь

то ли курьер то ли менты

доставляют диетический обед

запихивая его в глотку агрессивно

и я среди своей блажи

вскрываюсь нативным высказыванием

о насилии

и частоте его тенденций

у меня — слова истины

затерялись в кармане где-то

у них лишь индульгенция

грудное вскармливание

солнечный удар июль-август

я видел плавные движения

римские империи типы файлов

but where was i

when lighting hit

in my bedroom

when facts and figures

broke into pieces

fade into you

where was i when

размытые приближенные лица

имена покрытые пылью

старые сессионные звуки

русской эмо сцены нулевых

снежные вершины звездные бури

в разбитых фонарных столбах

нам остаётся

шагать по осколкам

говорить странные вещи

купили бы тебя

если б была тогда

нормальная скидка

новую накидку

рефлективные бумеранги

смытые дождями свинцовыми

закованные под лёд имена
и размытые приближённые лица
в тех фильмах ингмара бергмана

и когда главная героиня
«страстей анны»
закрывает лицо руками

можем лишь повторить
завышенные ожидания
прибыльные вложения
правильные изложения
наших выверенных мыслей

зачем ты вырываешь
глаза другим людям
зачем ты плюёшь
в крошки понимания

скверно не представить мир
выращенный в лесной чаще
поставить себя рядом с тобой

мне хочется разбиться
пока плачут цикады
пока несутся секунды
сквозь прошлое их разговоры

мне нужны мнения
отзывы лишения
мне нужны реки
разделения на части
конечности твоих
домашних животных
и платиновые вилы

выжить в этом бою
выжрать осадки
мозговых клеток
расколотые орехи на полу
вместе с коробками из-под пиццы
разбитыми пепельницами и коллекцией
маленьких ножей
игрушечные пистолеты

все создают круг
порочного обращения с нездоровыми
людьми

на моём голом
теле одинадцать
карточных колод
и в руках карты таро

руны под которыми я родился
сразу умер и вновь появился
с завышенными ожиданиями
и на зоне мне слышатся голоса

переверни пластинку
в цифровом океане цинковом

удивительнее их приближенных лиц нет
ничего я не могу смотреть им в центры
зрачков она жрёт их с сырным соусом
и белой капустой мне безмерно грустно
видеть седьмую печать и персону
и причастие и это вгоняет меня в мандраж
от твоего появления в окошке браузера
на порносайтах камеры отключены
залеплены пластырями тебе не разглядеть
моего лица по ту сторону медали едва ли
ты мог и едва ли могла когда-то всё в этом
мире слишком предвзято и вычурно если
бы мне доверили вскрыть облака как вены
торчащие я бы увидел там последних
великих китов но уже ничего не смог бы
спросить...

ЧТО ТЫ ХОТЕЛ СПРОСИТЬ?

почему ваши лица — мои?

ЧТО ТЫ ХОТЕЛ УВИДЕТЬ?

почему ваши плавники отрезаны?

ОЖИДАНИЯ ЗАВЫШЕНЫ

[полно
мо
чи
я
превысил
(шены)
завысил баллы
психиатру]

ОН НЕ УДОСТОИЛСЯ ЭТОГО

— почему везде лишь расход?
 — ты до сих пор ждёшь прихода?
 — лиловая плоть милтона
 — токсичная речь твоих близких
 — реки льются через мои лёгкие
 я должен (хочу знать)
 я (должен знать) хочу знать зачем
 _я провидец÷убей всё лучшее
 _я лжец÷все лучшее во мне

[они найдут тебя в снегу]
 посредине недели
 -к-о-г-д-а-?
 -в--с-р-е-д-у!

ТЫ ВИДЕЛ АНГЕЛА?

я видел твои плавники
 видел жажду и ритуал
 сквозь мутное стекло
 и молчание (сиди тихо)

кровь твоих собратьев
 видел твоё несчастье
 следил за тобой
 (он следил за мной?)
 следил каждый из дней
 [он следил за тобой]

[ты ничего не знаешь!]

заявленные требования
 и завышенные ожидания
 примитивное мышление
 недостаток кислорода и влаги
 в сухих помещениях классов

я видел ангела
 ангела за моим столом
 белый шум на моей кровати
 он был похож на море

на подоконнике сидели механические
 вороны

kimono my house слышал
 в соседском окне здорово

едва разглядывался твой силуэт

мы здесь в перми
 мы здесь передаём
 приветы тебе здесь

забытое что-то
 оказия дхармы
 джинсы рыжие
 белые лебеди по камне
 плывут против течения

и мы тонем
 как можно тонуть

не зная
 зачем
 глотаешь
 камни
 и ртуть

глотаю бытие чужое
 личные записи любимых

всё вечное
 всё в движении
 amen аминь whatever

Евгения Гордина

Пещера Мэскэн



Можно просто развернуться и уехать. Потом что-нибудь такое придумать про очень важные, неотложные дела.

Две самые любимые женщины стояли на тротуаре и смотрели совсем в другую сторону. Рудик подъехал оттуда, где жались друг к другу обшарпанные двухэтажки, а они ждали, что он появится оттуда, где широкополосная эстакада врезается в новый жилой комплекс.

Такое было с его стороны наивное малодушие. Он почти лёг на руль, смотрел, как разговаривают внучка и бабушка. Его мама — выносливая советская интеллигентка и его дочка — сильная и умная современная девочка. Перед ними обеими ему было всегда чуть-чуть стыдно. Перед мамой за то, что не оправдал надежд, а перед дочкой за то, что он не просто папа, а воскресный папа.

Рудик еще немного поёрзал на сиденье, погладил руль и, наконец, двинул машину

вперёд. Всё, никаких дёрганий, он нормальный взрослый человек, да и чего тут такого? Мама обняла его, поднявшись на цыпочки, Рудику при этом надо было наклониться. Такие у него были длинные руки и ноги. У дочки Лены тоже длинные руки и ноги, но пока неясно: это папино или просто подростковое.

Лена села на переднее сиденье. Прошлый раз они договорились, что больше никаких детских кресел и она поедет как нормальная.

— Кроссовки и ветровка прямо сверху, — сказала мама, передавая Рудику сумку. Маму Лены, которая эту сумку наверняка собирала, все трое обходили осторожным молчанием.

Бывает такое, что мужчины подерутся до крови, чуть не до смерти, и вдруг тем же вечером переходят к дружбе. А между мужчиной и женщиной бывает вот как: все проговорили, имущество по справедливости разделили, разумных поводов для конфликта — ноль.

Но находиться в одном помещении невозможно. Для самого ничтожного контакта нужен посредник. Благо мама Рудика от этой утомительной роли не отказывалась. Сам Рудик в присутствии жены теряет здравый смысл, срывается на фальцет, выкрикивает всякую мелочную, недостойную чушь. Одно утешение — она ведет себя еще менее достойно: дура душой. Оба так устали друг от друга, что даже не жалеют горячо любимую в два сердца дочку. На удивление Лена как-то не очень страдает. Вдвоем с бабушкой они смотрят на бывших супругов, как смотрят отличники на раздолбаев.

Рудик аккуратно вынул с кольца на эстакаду. Теперь надо подыскать какую-то тему для разговора. У них впереди целый день в дороге, и от этих первых минут зависит, как пройдет вся поездка. «Как дела в школе» и «как дела дома» — это табу. О чём можно поговорить со взрослой, но всё-таки девочкой... Но всё-таки взрослой...

— Я рад, что ты волосы не стала остригать. Тебе так очень идёт.

— Я знаю, что идёт. Но надоело. Хочется чего-нибудь... такого, — Лена затрясла головой и подняла к лицу ладони с растопыренными пальцами.

— Езда верхом по горам — это что-нибудь такое?

— А что, будет?

— Надеюсь. У Коваленко родственники держат маленькую турбазу недалеко от карьера, на который мы едем. Обещали конную прогулку.

— Ну-у... Смирные полупони-полукони — это что-нибудь такое обыкновенное.

— А тебе горячего скакуна надо?

Посмеялись — вроде покатило. Автомобильные зеркала в салоне позволяют разглядывать собеседника не направляя взгляд прямо на него. И Рудик, не отвлекаясь от дороги, все посматривал: превращение ребёнка во взрослого у женщин происходит как-то особенно волшебным.

Рудик и Лена виделись почти каждую неделю. И каждый раз в Лене появлялись какие-то новые обертона. То сильнее выходила его узловатая, носатая порода, то ярче проявля-

лись черты бывшей жены. Как же ему хотелось для дочери счастья! Так сильно, что он мог бы броситься под КАМАЗ, разметать голыми руками гору гравия. Но безумие ни к чему. Надо сидеть тихо и не задалбывать подрастающего человека выискиванием в нем своих собственных несовершенств.

— Лена, мне надо посылку забрать. Можно, конечно, и потом, когда вернёмся...

— Книги? — спросила Лена с радостью человека, разгадавшего тайну другого.

Он кивнул.

И конечно же, дотерпеть до вечера тоже было невозможно. Рискуя выбиться из графика поездки, они сели на скамейке в сквере и листали белоснежные лощёные листы с полноцветными репродукциями. Листали медленно, как гурманы. И Рудик говорил о том, что новый большой стиль в архитектуре обязательно должен появиться. Потому что все его ждут. Никто не знает, каким он будет, но все ждут.

Большинство знакомых думали, что Рудик — уменьшительное от Рудольф. Он даже подумывал сменить паспорт, чтобы соответствовать ожиданиям. Но паспорт спрашивали всё реже и реже, и в этой смене было бы что-то картонное. А так у него всегда был в арсенале застольный анекдот, как за артистичную натуру его ещё в октябрятах нарекли Рудиком.

— Ну, поехали. Часики тикают, а мы увлеклись.

Им предстояло ехать строго на юг. Дорога эта состоит из череды спусков и подъемов, и на каждом подъеме Лена чуть подаётся вперёд и приоткрывает губы. Что нового откроется там, когда они заберутся на очередной холм?

Обедать остановились в Чернушке. Вообще-то места вокруг сельскохозяйственные: кругом хлеб родится, мычат молочные фермы, ведрами собирают ягоды. А сам городок не выглядит милым, хотя имеет фольклорное название.

— Как много КАМАЗов. И все новые, — цепкие Ленины глаза подмечают приметы нефтяного опорника. А голову повернула совсем как мама, можно сказать, повернулась к Рудику лучшей маминой стороной.

Почему всё так получилось? Так сильно полюбили они друг друга в первой юности, а потом так сильно разлюбили. Ни он, ни она не могут начать новую жизнь.

Когда на обочине дороги мелькнула первая надпись на башкирском языке, Лена отметила это коротким кивком. А когда надписи стали появляться одна за другой десятками, Лена развернулась к отцу. Она не знала как сформулировать вопрос, и в поиске слов покусывала губы.

— Я же тебе говорил, что мы едем в Башкирию, — не стал дожидаться вопроса Рудик. — Здесь живут башкиры. В деревнях есть люди, которые по-русски плохо понимают.

— А давно они здесь?

— Они у себя дома.

— Чья же это страна?

— Наша общая.

— Трудно. Вон вы с мамой родные, и то...

На ночёвку остановились в маленькой гостинице на краю неразличимой в темноте деревни. Подъезжали уже почти ночью. А утром, рассматривая непривычную русскому глазу деревню, Лена воскликнула:

— Ух, как тут...

— Это что. Вот там, куда мы едем, вот там — да! Влюбишься — будешь каждый год прощаться.

— Моря же там нет.

— Море — это море. Горы — это горы.

Завтракали уже в Уфе. Не в первый раз Лена вместе с папой была на деловом завтраке. И дядю Севу она видела не в первый раз. Но прежде он был их гостем, а теперь наоборот. На башкира он был совершенно не похож, да и разве можно этого ожидать от человека с именем Всеволод. Про то, как живут здесь такие вот линияло-рыжие, светлоглазые люди, очень хотелось спросить. Еще год назад, если бы она громко и капризно перебила разговоры про наценки, про поставки, взрослые бы умилились и начали бы сюсюкая ей отвечать. А сегодня ей подали меню, ничем не ограничивая её выбор. Да ведь и сама она вчера спросила у папы, как отчество у дяди Севы, и поздоровалась с ним именно так:

— Здравствуйте, Всеволод Сергеевич!

Разве можно после этого лезть с милыми наивными глупостями; надо как-то соображать самой.

После кафе поехали «на базу» к дяде Севе (про себя ведь можно так?). Базой называли двухэтажный павильон, в котором торговали отделочными материалами. У папы был такой же. И Лена приглядывалась, сравнивала: в чём-то у дяди Севы было лучше — больше размаха, масштаба; в чём-то у папы — живые цветы, больше тонких деталей, и вообще больше шика. Особенно Лене нравился в папином магазине малиновый диван совершенно невозможной формы.

Рудик вышел на улицу, чтобы получше рассмотреть образцы садовых скульптур. Дядя Сева их «отрыл» — то есть нашёл, где такие хорошие вещи делают по такой приятной цене. Фронтальная стена первого этажа была одной сплошной витриной. Оставшимся внутри Лене и дяде Севе было видно, как Рудик подходил к фигурам поближе, потом подальше, потом снова очень близко, и ковырял пальцем за ушами каменных мопсов и пупсов.

— Вот, смотри, Лена, — дядя Сева наклонился так, чтобы никто больше не слышал. — Папа твой мечтал стать архитектором. Поедом себя ел, что не смог или, точнее, трусил. А вот получается, что занимаемся мы с ним тем же самым. И все эти дизайнеры-архитекторы у нас в наших магазинах пасутся. Мы их чаем поим, а они у нас комиссионные просят. Известно, кто кому больше нужен и у кого жизнь интереснее. И уж точно, не стоит диплом архитектора всех этих мучений.

Лена вспомнила, что в багажнике лежит коробка с альбомами, но говорить ничего не стала. Она только чуть заметно наклонила голову и заметила:

— Вам ведь деньги тоже не просто так достаются.

Она знала, что это её замечание понравится. И дядя Сева, польщенный, протянул: «О, да-а-а...»

А с уличной стороны витрины на них смотрел Рудик и думал, где же Лена научилась так поворачивать голову, так внимательно слушать и делать таким довольным собесед-

ника. Уж точно, не мама её научила. Если бы мама так умела, может, и не надо было бы выдумывать воскресному папе, чем развлечь ребенка, куда ещё свозить.

Дядя Сева подмигнул Рудику и так же тихо спросил Лену:

— Вы ведь на карьер Коваленко едете?

— Вроде да.

— Завидую тебе. Впервые увидеть башкирские горы можно только один раз. Жаль, что я не смог в этот раз с вами поехать. Такие дела, что... Ну, может, еще как-нибудь вместе соберемся.

Пообедать остановились, когда забрались в горы. От Уфы два часа ехали по прямой, как городской бульвар, трассе. Наблюдали исчезновение большого города. Сначала закончились многоэтажки, потом — торгово-складские коробки, а потом — и коттеджи.

Ехали по-прежнему строго на юг; по левой, восточной, стороне лес все заметнее вздыбливался, пока не встал стеной. И вот настало время на эту стену забираться. Они свернули с большой дороги на меньшую: двести метров под углом вправо, потом поворот и столько же влево. Сделали несколько таких поворотов и выбрались на простор. Вот здесь и стоял придорожный бивак: кафе, туалет-душ и несколько койко-мест для дальнобойщиков. Купили чебуреков, но есть тут не стали. Двинулись дальше.

Ощущение было такое, будто забрались на крышу чего-то огромного. И все эти холмы — купола каких-то строений, покрытые ковром зелёного дёрна. Совсем недавно Рудик рассказывал дочери, что есть такой приём — накрывать неказистую поверхность искусственным дёрном, и Лена напомнила ему об этом.

— Бедный мой урбанизированный ребенок, — засмеялся Рудик. — Какой искусственный газон? Какие гаражные крыши? По этим холмам скакали тумены кочевников, всё это тысячу лет. То в ту, то в другую сторону. В основном, конечно, с востока на запад. От этих холмов пахнет дымом их костров. Рядом с этим все наши проекты благоустройства... — Он зажевал кусок чебурека. — Ам, и нету как не было!

Они устроили в багажной части джипа нечто вроде пикникового стола и стояли рядом, лицом к холмистым просторам. Лена закрыла глаза, чтобы представить себе, как скачет с востока на запад вооруженная орда, на концах копий колышутся бунчуки. А когда открыла глаза, то и вправду увидела небольшой табун. Она вопросительно посмотрела на отца.

— Да, здесь этого много. Все эти кони — хозьяйские, на голове у жожака — GPS-маячок. Традиция встречается с технологиями, так сказать.

Дальше поехали уже не по асфальту, а по гравийке. Слово «внедорожник» приобрело первоначальный смысл. В городе громадность и высота порогов — пустое пижонство. Здесь машина карабкается вверх, потом держится, наклоняясь вбок, там, где можно бы и свалиться. Рудик вместе со своим джипом получал от этого удовольствие, Лена — нет.

— А как Коваленко с карьера вывозит камень? Как тут едут грузовики?

— «Уралы» ездят по другой дороге. Там ровнее, но дальше. Здесь — только на джипах, на мотоциклах и на лошадках. У местных договор — ни тракторами, ни большеколёсной техникой не раскурочивать этот путь.

Дачу Коваленко они увидели издалека. Она лежала на дне небольшой котловины. Забравшись на край чаши, чуть-чуть проехав по каёмке, джип стал аккуратно спускаться.

Лена уже понимала, что там, внизу, ждёт её какой-то сюрприз. Она знала эту хитринку, которая сейчас блуждала на лице отца. Рудик очень любил удивлять, любил розыгрыши. Был в этом вопросе настоящим гурманом. И очень хорошо отличал милую шутку от обидной. Если же оба компонента были в ней перемешаны, то он прекрасно чувствовал дозировку. Если он удивленно вскидывал бровь и говорил: «Ой, вы что, обиделись? Я не подумал, что это может быть неприятно», — верить ему не стоило. Всё он прекрасно понимал и именно так и задумывал.

Самые ехидные розыгрыши были припасены для выпускников столичных архитектурных институтов, которые по каким-то причинам работали в уральском городе,

в тысячах километрах от Красной площади. Рудик регулярно собирал у себя в салоне дизайнеров, декораторов, бригадиров отделочников, и вообще всех, кто крутился вокруг дорогих ремонтов. И так сумел поставить эти вечеринки, что посещать их было престижно. И даже тот, кому шутка показалась обидной, не спешил отрезать себя от такой тусовки.

А вот по-настоящему приятные сюрпризы Рудик приберегал для дочери. Случалось, что это были прямо-таки королевские развлечения. Бабушка сердилась: «К чему ты её приучаешь? Кто сможет вот так же её развлекать?» «Ну, я же могу, — отвечал Рудик, — значит, кто-нибудь найдется».

Лена вглядывалась в приближающуюся усадьбу Коваленко. Вместо забора постройки окружала изгородь из дикого винограда. Тому, кто спускается по склону сверху, хорошо виден и весь двор, и большой дом. Дом необычный. Точнее, если бы он стоял в Швейцарских Альпах, то был бы преобладающим: узнаваемый фахверк с массивными тёмными балками и светлыми стенами. Но здесь, на границе Европы и Азии, дом выглядел игрушкой из сказки Шарля Перро. «В этом и состоит сюрприз? — спросила себя Лена. — Или ещё что-то?» Ворота им открыл очень смуглый пожилой человек, прожаренный явно под другим солнцем.

А на ступенях дома их встречала луноликая восточная красавица, довольно пышнотелая. Когда подошли поближе, стало видно, что не очень и молодая.

Рудик сначала чуть поклонился, а потом поздоровался с ней за руку.

— Вот дочь моя Елена. А это Коваленко... Татьяна Булатовна.

— Карьер Коваленко?.. — Лена повесила в воздухе неоконченный вопрос, вместо того чтобы воскликнуть: это она и есть хозяйка доломитового карьера? Это она командует мужиками, которые долбят камень, кранами и погрузчиками, которые складывают его в штабеля или навалом в грузовики?

— Карьер там, — махнула луноликая в сторону, противоположную той, откуда они приехали. — А здесь дом. Я хозяйка и буду вас угощать.

Даже для Лены, подсевшей в последний год на жареные во фритюре куриные ножки, стол показался слишком тяжелым, слишком мясным и жирным. Она съела три колечка рулета из конины, а лоснящимся мантам, облитым сливочным маслом, потеряла счет.

Перед тем как взяться за хрустящий, пропитанный медом десерт, Лена бросила удивленный взгляд на отца. Рудик разговаривал с хозяйкой, таская одну за одной изюминки из маленькой пиалы. Редко, лениво. На тарелке лежало полколечка мясного рулета. Вот почему он такой худой, подумала Лена и попросила чаю. Хозяйка сама встала и налила гостье большую чашку, густо пахнущую травами.

Спала Лена одна в маленькой комнате под самым коньком высокой крыши. В таких комнатках спали, наверное, Кай и Герда из той книжки, которую она еще не так давно читала по слогам. Спала плохо, от жирного мутило.

Утром Лена спустилась в огромную кухню. Никого не было. Но большой заварочный чайник, накрытый стёганым колпаком в виде курицы, стоял посреди стола. За спиной скрипнула створка окна. Это отец её снаружи толкнул.

— Поедешь с нами на карьер?

Лена задумалась. С одной стороны, что она будет здесь делать одна? Скучать? С другой стороны — эта усадьба была сказочной, а на карьере она уже однажды была. Далеко отсюда — под Челябинском. Пылища, грохот, затомлённые люди, перед которыми почему-то стыдно. Потом они поехали купаться в красивых озёрах. Но то пыльное и шероховатое пересилило всё, и стало самым сильным впечатлением от челябинской поездки. Если она сейчас поедет с ними, то потом, после того как вернутся они обратно, не разрушится ли сказка. И Лена отрицательно мотнула головой.

До обеда она ничего не делала, но и не скучала. Интернета не было, волнами накатывали влажные запахи разных растений. В таких местах время течёт по-другому.

За обедом Лена вела себя осторожнее, чем вчера. Да и хозяйка, видимо поняв, что столько мантов внутри одной девочки многовато, приготовила лапшовый суп. А может, его приготовила смуглая пожилая женщина, с тем

же самаркандским загаром, что и старик, который вчера открыл ворота.

Вечером, пока было еще светло, они вышли за ворота и наблюдали, как охотилась большая хищная птица. Долго, завораживающе кружилась, а потом резко кидалась вниз.

— Пап, а Татьяна Булатовна совсем не похожа на бизнес-леди.

Рудик никогда не отвечал на такие замечания прямо.

— В древности женщина могла встать спиной к спине с мужем, взять тяжелый лук и отстреливаться, если на кочевье нападали. Слово Коваленко тверже алмаза. У неё сына Алмазом зовут.

— А ты мог бы в неё влюбиться?

— Я думаю, одного славянина ей в жизни было достаточно.

Любопытство осталось неудовлетворенным. Но упорствовать с расспросами означало вести себя как ребёнок.

На следующий день катались верхом. Лошадок прислал брат Татьяны Булатовны, державший турбазу в тридцати километрах отсюда. Еще вечером их пригнал бронзовый таджик. Втроем забрались на самый гребень. В одну сторону был виден сказочный домик, в ту сторону, где можно было вдалеке разглядеть карьер, Лена не поворачивалась. Чтобы что-то сказать другому наезднику, надо было говорить очень громко. А от этого ткань волшебства в сказочной долине истончалась. Поэтому почти все время молчали.

Наговорились и насмеялись вечером, когда раскатывали из теста змейки, а потом заливали их мёдом.

— Как же ты ловко со всем этим справляешься? — Рудик был с Татьяной Булатовной на ты, и это не умаляло его уважения. — Ты застала настоящую деревенскую жизнь?

— Почти что и нет. Приезжала только летом ненадолго. Да и всё уже было... Одни разговоры.

Татьяна Булатовна потеряла нос запястьем, чтобы не пачкать лицо мучными руками.

— А знаешь, что я запомнила... Дед был больной, жалкий: с печки на лавку и обратно. Всё время с палкой. Вся работа, все заботы — на бабушке. Но на этой лавке он всегда ока-

зывался во главе стола, еду первому всегда накладывали деду. Мне казалось это странным. А сейчас кажется так красиво. И этой красоты сейчас мало.

— А что же ваша бабушка за такого большого замуж вышла? — Лена понимала, что это детский вопрос, но интерес был сильнее.

— Что ты...

Татьяна Булатовна встала из-за стола вытерла руки и вышла из кухни. Вернулась она с небольшой картонкой в руках. На старом фото был чернобровый красавец. Башкирское в нём угадывалось едва-едва.

— Бабушка его после войны ждала семь лет. Про то, что он видел, и говорить не надо, во всяком случае за столом. Папа мой родился уже после этого всего. В пятьдесят пятом году. Поздний, желанный — бала — малыш, значит.

На следующий день у Татьяны Булатовны были какие-то дела. Она уехала утром, попрощалась на крылечке, велела не скучать.

То, как она выглядела в этот раз, стало очередным удивлением для Лены. В тёмном костюме с широкими, струящимися брюками. Никакого платка на голове; и оказалось, что у нее модная стрижка: с одной стороны короткая, а с другой — будто черный плуг, остриё которого доходит до плеча. Ничего деревенского — только роскошное и дерзкое.

У лошадок в тот день тоже были дела. Их обычная работа — возить туристов; и они отправились на основную работу.

Рудик и Лена стали теперь пешими туристами. Еще вчера, когда они были верхом, они заметили ущелье, в которое на лошадах было не протиснуться. Даже не ущелье — складка между двумя скалами

— Можете сходить туда, — предложила Татьяна Булатовна, когда стали обсуждать, как они проведут день без неё. — У нас здесь на каждом шагу легенда. Вот и там тоже. Ущелье это называется Мэскэн. Это что-то вроде «несчастливая». Там плачет покинутая любимым женщина. Кто её утешит, тот будет очень счастлив.

— Поди утешь плачущую женщину, — со знанием дела сказал Рудик.

— Очень даже просто: вы туда приходите и ждёте, когда завоет ветер. Это плачет Мэскэн.

После этого надо дожидаться, пока Мэскэн перестанет плакать.

— То есть утихнет ветер?

— Ну, если ты, Рудик, такой конченный материалист, то да.

— Опасно. А если ветер не стихнет несколько дней?

Татьяна Булатовна засмеялась.

— Я бы не рискнула уйти, пока Мэскэн не перестанет плакать.

И вот Рудик с Леной, аккуратно ступая, держась за каменные выступы и растущие из скал кусты, забрались вглубь этой расщелины.

Было тихо. Открыли термос с чаем и, положив на камни туристические «сидушки», сели ждать. Когда термос опустел наполовину, Рудик начал понимать, в чём тут дело. Ветер в ущелье завывал очень редко. В каменном чулане стояла необычная для леса тишина. Звуков было ждать неоткуда, но Лене не хотелось уходить. От скуки она полезла еще глубже в расщелину.

Даже если бы Рудик захотел сопровождать её в этих исследованиях, взрослому там было бы очень неудобно. Особенно такому длинноногому и долгоручному.

— Пап, тут пещера.

— Не лезь туда, доча.

— Папа! Тут такое!

В одну секунду Рудик ринулся за Леной. Ему видны были ноги и детская попа, а передняя часть девочки залезла в пещеру. Рудик рывком вытащил ее наружу и по лицу понял, что ничего страшного: удивленное, но веселое.

Он сам заглянул в небольшой зазор, который уходил в сторону от основной расщелины. Легко проходили только голова и плечи. На Рудика нёсся охровый бык, выставив вперед угольные рога.

Рудик вылез наружу и долго сидел молча.

— Пойдём отсюда, — сказал он наконец.

— А что это?

— Ничего особенного.

Он солгал. Он сразу понял, что это. Не просто что-то особенное — это бомба. Но странное оцепенение напало на него. Никому не рассказывать! Надо сначала хорошо подумать, что с этим делать.

Вечером за ужином он лениво ковырял вилкой плов и, сославшись на головную боль, ушел на свежий воздух — слоняться по двору. Покинутые женщины грустно остались одни.

— А хочешь посмотреть на козу? — спросила Татьяна Булатовна.

Лена видела рядом с усадьбой небольшую отару. Животные эти жили очень вольготной, почти дикой жизнью. Паслись внутри чаши-долины и незаметно было, чтобы их кто-то пас.

Овцы так и ночевали в загоне под открытым небом, а вот коза — белоснежная, с длинной волнистой шерстью, имела свой дом — то есть добротный, непродуваемый сарай. Двери в него открыла очень смуглая женщина. Все работники были молчаливы и почти незаметны. Скотница погладила козу, успокаивая, и подвела к Татьяне Булатовне. Коза вела себя как капризная любимица: и ластилась, и артачилась.

— Ты когда-нибудь доила козу? — спросила Татьяна Булатовна.

— Никого я не доила.

— Ну конечно, — и обе засмеялись. — Хочешь попробовать?

Лена испуганно отшатнулась. Какой бы миленькой ни была коза, но прикосновение к вымени казалось Лене жутким, как потрогать сырое красное мясо.

Татьяна Булатовна, та самая, что сегодня утром прижимала к себе локтем сумку-клатч из лаковой кожи, потуже затянула на голове косынку, присела на подставленную работницей табуреточку и стала смело дергать козу за соски, направляя тонкие белые струйки в маленькое ведёрко. При этом она бормотала что-то нежное на непонятном, наверное — башкирском языке.

— Татьяна Булатовна, а вы когда решили, что хотите стать бизнесменшей? — Лена чуть замаялась, подбирая слова «бизнесменом?», «бизнесвумен?»

— Никогда, — улыбнулась хозяйка и, не отвлекаясь от козы, пояснила. — Я в детстве мечтала стать актрисой. Надо мной смеялись папа-инженер и мама-врач. Всем наперекор что-то делать я не могла, да и не хотела. Стала учителем музыки, работала даже хормейстером в доме культуры.

— А потом?
 — А потом замуж вышла. И как говорят, си-дела дома. Хотя не очень-то там посидишь.
 — А потом?
 — А потом муж погиб. На машине разбился. Такой был... лихой. Через лихость разбогател, через лихость погиб. Хочешь — не хочешь, а надо было со всем управляться, со всеми его делами.
 — Карьер Коваленко? Это он Коваленко?
 — И он Коваленко, и я Коваленко.
 — Вы очень красивая, можете еще раз замуж выйти.

— Может, могу, а может, и не могу, — молочные струйки перестали брэнчать о стенки ведра. — Бестолковый, слабый мужик, чтобы ходил тут, красовался, брелок на пальчике вертел? Такой мне не нужен. А сильный? Сильный — угроза. И делу, и сыновьям.

В хлеву стало тихо. Вроде бы не закончен разговор, есть ещё что рассказать. А может, и не надо этот разговор заканчивать.

Завтракали женщины опять одни. Рудик ушёл рано утром, почти ночью, как только показался розовый свет над скалистым краем чаши. Спросил у смуглого, молчаливого человека лом, ветошь, налил из канистры в пластиковую бутылку бензин.

Со всем этим добром он пришёл к ущелью Мэскэн и протиснулся в пещеру. Ближе к входу пространства было очень мало. Но из глубины тянул холодный ветер — там было просторно. И оттуда бежал бык, которого они вчера увидели. Рудик добрался до этого простора. Здесь можно было даже встать, но он сел.

На стену с быком старался не поднимать глаз. Намотал ветошь на палку и аккуратно промокнул бензином. Потом чиркнул спичкой. Конечно, можно было взять фонарь. Но в первый раз он хотел увидеть это именно в свете факела.

Да, все это было еще прекраснее, чем он посмел себе представить. Бизоны, кони, газели.

Рудик сидел рядом с воткнутым между камнями факелом и смотрел на бег животных.

Он мечтал о том, как окажется в центре медиашума, который поднимется от топота

этих копыт. Теперь он не робкий юнец, который струсил даже в Екатеринбург поехать. Он наточил зубы. Он будет давать интервью на центральных каналах. И он никому не позволит вырвать это из своих челюстей.

Тихонько заплакала Мэскэн — видимо где-то в глубине пещеры вверх уходили каменные пустоты и образовывали нечто вроде естественного органа. Рудик сделал несколько шагов в ту сторону, откуда доносилось подвывание. Там потолок пещеры опускался, оставляя совсем небольшой лаз. Рудик осторожно просунул голову в это новое пространство, как бы в следующую комнату-пещеру. Звук определённо был плачем. Жалобным женским плачем. В дальней части пещеры теплился неестественно тусклый костёр, не источая никакого запаха. Блики высвечивали сложенные в кучу камни, но от мелькания огоньков казалось, что куча оживленная, что она колышется. Забыв осторожность, Рудик полез дальше, стараясь разглядеть, что же это. Больше всего куча казалась похожа на фигуру старой женщины покрытую грубым покрывалом. И вдруг край этого покрывала отодвинулся. На Рудика смотрела жена. Увядшая и зареванная; и на тысячу лет постаревшая. Жалкая дура. Вокруг лица висели гроздь темно-рыжих кружочков. Не монисто из ровных монет, а разномастные чешуйки из тех времён, когда люди не знали денег. Он не отшатнулся, а медленно пополз назад. Забрал факел из каменного поставца и вместе с ним вышел наружу.

Огонь уже подъял тряпку и верх палки, стал затухать. Рудик до конца погасил его остатком ветоши. Быстрым шагом дошёл до усадьбы, сел в машину и, никому ничего не говоря, поехал на карьер. Там уговорил поехать с собой кого-то. Тот сначала спорил, но потом махнул рукой и согласился. Они взяли небольшой ящик. Взрывник положил заряд так, чтобы камни завалили вход в пещеру Мэскэн. Усталый, покрытый серой карьерной пылью человек даже не вникал, зачем Рудики это надо.

Вечером Рудик и Лена уехали обратно. К маме.

Сергей Крюков

Дядюшка Смог



26 июня 2025 года скончался поэт Антон Колобянин – один из ярких, молодых поэтов Перми рубежа 1990-х и 2000-х годов. Антон родился в 1971 году в Перми. Стихи начал писать рано, первая публикация состоялась в газете «Молодая гвардия». Публиковался в журналах «Урал», «Несовременные записки», «Уральская новь» и «Антологии современной уральской поэзии». Первая поэтическая книга «Центр дождя» вышла в 1997 году в пермском издательстве фонда «Юрятин». В последние годы Антон работал грузчиком, стихи не писал. По просьбе «Вещи» пермский литератор, художник и музыкант Сергей Крюков написал некролог о своем друге.

Редакция

В дождливый летний вечер 26 июня 2025 года мы с братом в одном из пермских рок-ролльных клубов решили блеснуть своим творчеством. Песни исполняли разные, но в том числе о бурной музыкальной молодости. После концерта, когда мы вышли под июньский дождь в тёмное урбанистическое пространство, жена, которая вместе с дочерью весь концерт снимала на мой телефон, сказала, что во время сейшена пришло сообщение от моего однокурсника Вадика Гатауллина. Умер мой друг, поэт Антон Колобянин.

Очень больно... И только дождь скрашивал лирическими нотками это чувство потери. Вспомнилось, что книга Антона, которая вышла у него в 1990-е, тоже называлась – «В центре дождя».

Впрочем, в мемуарном рассказе мне меньше всего хочется наматывать сопли на кулак. Скажем так: что на земле потери – на небе приобретение. А нам остались стихи Антона.

*Устав от конкретной боли,
Я тоже спешил туда,
Где часто меняют роли,
Где в жилах течет вода.*

Оксана сказала мне, что сообщение о смерти Антона пришло на телефон во время исполнения песни «Винтаж», которую я посвятил нашей рок-н-рольной молодости. Перед тем как взять первый аккорд песни, я как раз и вспоминал своих покойных друзей-музыкантов, тоже рано ушедших из жизни: Александра Имайкина, Алексея Поломских, Андрея Белёва... И вот теперь ещё и Антон...

В юности все знакомства возникали словно снежный ком. Когда я первый раз встретился с Колобяниным, сложно вспомнить. Возможно, это было в квартире Димы Долматова, моего однокурсника по филфаку. В квартире Долматова происходили сходки литературно-бардовской богемы, и неудивительно, что Антон каким-то образом тоже сюда попал. Сам Дима писал стихи в стиле обэриутов, носил причёску под Энди Уорхола, малиновый шарф и зелёный плащ. В общем, мы были друзьями, и тут ещё появился Антон.

Мы с Долматовым придумали себе псевдонимы, грезили об издании литературного журнала, организовали поэтическое выступление в школе. Антон, который был нас несколько моложе, восторженно смотрел на такие творческие подвиги.

В целом Долматов отличался бульдозерным натиском, железной логикой, постоянно строил планы, связанные с творческой реализацией, а Колобянин производил впечатление застенчивого юноши, какого-то велосипедного романтика. Не помню, чтобы Антон куда-то настырно лез со своими текстами, продвигал или навязывал их кому-либо, он больше прислушивался к другим, был почитателем творчества Виталия Кальпиди, постоянно хвалил мои стихи, никогда не скупился на комплименты.

К слову сказать, у большинства коллег по литературному и художественному цеху тёплое, доброе слово о чужих работах клещами не вытянешь. Слышишь только язвительные шуточки, какие-то стенания по поводу собственного неуспеха или непризнания, и это не способствует развитию художественных идей.

Вот таким запомнился мне Антон Колобянин на кухне в квартире у Димы Долматова: вдохновлённый атмосферой богемного пермского флэта и мечтательно смотрящий в окно.

Колобянин производил на меня впечатление праведника или святоши, который попал в дурную компанию и пустился во все тяжкие. Его квартира была пропитана духом шестидесятых, времени молодости его родителей, заставлена книжками, пластинками, фотографиями в рамках.

Ранней молодостью Антон и Сергей Аксёнов организовали творческую группу под названием «Аббат и Лука». Под образом аббата подразумевался сам Колобянин, а Лукой был художник Аксёнов, который впоследствии стал заниматься иконописью.

Аксёнов и Колобянин жили практически в соседних домах в районе улицы Мильчакова, видимо, часто встречались, совместно творили, а Лука ещё музицировал в составе собственной группы «Геноссе Тод», то есть «Товарищ Смерть». Видимо, благодаря этому молодёжному дуэту у нас с Антоном впоследствии так легко сложился творческий союз под названием Fox band.

Мы находили старые пластинки, где была фонограмма, чисто оркестровая, без голоса, включали патефон и записывали поверх музыки свои тексты. Fox в данном случае для меня означал фокстрот, поскольку в старых пластинках нам нередко попадались музыкальные произведения в этом стиле. В частности, под фокстрот из фильма «Девушка без адреса» мы записали песню про доярок.

В текстах мы потешались над самим институтом поэзии как могли. На мой взгляд, это были некие пародии непонятно на что, какая-то неконкретная ирония, интеллектуальное паясничество и фиглярство, свойственное постмодернизму.

Песня про доярок вошла в первый альбом Fox banda под названием «Два дрозда», записанный в 1993 году, и стала своего рода визитной карточкой нашей группы, поскольку там и звучал фокстрот:

*Шли по домам гурьбой доярки
По тёмный столбовой дорожке,
Напившись чаю у гадалки,
Наслушавшись чужой гармошки.*

Конечно, мы мнили себя великими поэтами, по крайней мере я так думал. Нам казалось, что совсем скоро, вот-вот практически завтра, мы будем стоять в цилиндрах и с сигарами где-нибудь на Бродвее, вальяжно потирая край бархатной жилетки. Как минимум, мы должны были стать авторами голливудских мюзиклов. Казалось, что в этом нет никаких сомнений. С этой, как нам казалось, реально достижимой высоты, мы насмешливо смотрели на мир и жонглировали рифмами.

Помню, тогда же, в девяностые, мы с Антоном зашли в гости к двум молодым художницам, принадлежавшим к общей тусовке, где балом правил рок-н-рольный аккорд и хипповский. Мы очень гордились нашими самостоятельными альбомами и либретто для мюзиклов, которым не суждено было материализоваться на сцене, и вот с этими заветными кассетами в кармане мы курсировали от одних общих знакомых к другим, рассказывая о своих творческих достижениях.

— А какие у вас новости? — поинтересовались мы у знакомых художниц.

Те же среди прочего рассказали нам, что приобрели новый холодильник.

«Ну надо же, посмеиваясь про себя, — думали тогда мы. — Разве же это новость — холодильник? То ли дело наше новое гениальное либретто!»

Надо сказать, что Колобянин всё же озвучивал мне некоторые идеи, связанные с бизнесом, далёким от музыкального творчества. Один раз он озадачился идеей производства табуретов в каких-то кустарных условиях. В другой раз его посетила мысль о создании пепельницы, в которую вмонтирован небольшой атомный реактор, благодаря чему окурки исчезали в последней без следа. Больше ничего и не вспомню.

С другой стороны, я устану здесь перечислять наши музыкальные проекты. С особым рвением мы работали над рыбным мюзиклом, который записывали и с ансамблем «Танцы на траве», и с группой «Вершина всего» в какой-то фонолаборатории в университете. Помимо арии Маяка, хора русалок и песни пиратов, в нём был номер, который исполняла портовая крыса — песенка про смерть:

*Чьё-то сердце стучит,
Говорят, оно бьётся,
«Если больно, молчи», –
В этой песне поётся.*

Вот так и Антон никогда не говорил мне о своих жизненных трудностях, хотя судьба его совсем не радовала бытовыми коврижками. При этом я не помню, чтобы Антон когда-то просил помощи, денег в долг. Видимо, он всегда рассчитывал на собственные силы. Какое-то время работал на книжном складе, грузчиком. В юности, помнится, писал заметки в газеты.

Когда умерла мать, Антон переселился в половину деревянного дома на каком-то шоссе рядом с автозаправкой. При заправке было небольшое кафе, где можно было опрокинуть рюмку и угоститься винегретом. В доме была печь, старый магнитофон, стопка кассет и нехитрый антоновский скарб. Потом и этого дома, как я понимаю, не стало. Антон стал кочевать по мастерским и съёмным квартирам, бережно переносил из угла в угол наш бесценный архив. Я уже редко видел моего друга, поэта, поскольку стал заниматься выставками, потом уехал жить в Питер.

Сам Антон тоже искал счастье в столице, выступал в московских литературных клубах, публиковался в журналах, но что-то не задалось. Хотя, может, это и есть реальная, истинная жизнь поэта: с транзитным автозаправочным пунктом на тёмном шоссе? И пусть наша рок-рольная поэтическая молодость давно укатилась куда-то в далекое неведомое депо, но я верю, что никогда не будет погашен свет в его окне, свет бесконечного оптимизма, которым делился с нами Антон.

*** * ***

Минувшей зимой, за несколько месяцев до смерти Антон, разговаривал со мной по телефону. У Колобянина была сломана рука, он находился в больнице. Антон не унывал, а больше сокрушался о нашем потерянном архиве: все кассеты, оставшиеся на съёмной квартире, на которой он давно не появлялся, были безвозвратно утеряны. Антон переживал, что этот факт сильно меня расстроит. «Да не переживай, Антон, – говорил я ему, – мы ещё что-нибудь запишем».

У нас была песня «Дядюшка Смог». И мне кажется, что Антон именно смог прожить жизнь честно, без равнодушия и фальши. Никогда не терял присутствия духа. Был отзывчивый и веселый. Вот припев из этой песни:

*Он говорил, у меня длинные руки
И пышная борода,
И все девчонки торчали в округе,
Когда он подключал провода
К своей бас-гитаре.*

Мария Гресева

Где закончились твои небесные дни?



Существует теория о протопланетном облаке, благодаря которому молодые звёзды, окруженные взвесью пыли, газа, обломков льда, комет, космического мусора, эволюционируют в огромные планетные системы. Частицы облака вносят возмущения в орбиты друг друга, слипаются, сталкиваются, постепенно образуя крупные объекты. Таким же образом возникла Земля.

Я думаю о том, что не могу воспринимать мир напрямую. Близкое кажется подозрительно нереальным. Далёкое воображается достоверно существующим. Человек живёт в пустом теле расхожих фраз и представлений, где «фраза обещает лишь форму»¹. Видимость глубины, но всегда невозможность погружения. Всё скользит и выцветает наружу, как поблёкшее воспоминание. Ничто не цепляется, не застревает. Кроме неприкрытой боли, которая раскалывает даже горизонт.

Я думаю о потребности в таком знании, которое имело бы насильственный жест. Знание, которое выламывает кости и выжигает мозги. Тайна под языком казнящая, не гарантирующая воздаяние — скорее наоборот, предвещающая чистое разочарование — руинирует общепризнанное, предписанное. Парализует рассудок, чтобы высказать то, что располагается в зоне умолчания.

¹ Драгомощенко, Аркадий. Тавтология. — М: Новое литературное обозрение, 2011

Я предлагаю формулу мыслительной гравитации. Когда на траекторию мышления намеренно накладываются элементы утяжеления, сгущения, пересечения. Мысль как натуральная действительность. Текстура слов на орбитальной плоскости, в которой происходит плотное вращение символа вокруг другого. Взаимопроникновение, пребывание друг в друге, со-держание. «Вложи в уста мои слово истинное и твердое и сдержи язык мой».

Подобная гравитация не исключает свободу выбора несоответствий и различий, скрытую логику. Антиномически допускается обнаружить себя в обратном месте. «Уже Гераклит сообщает нам, что если мы утверждаем существование вещей в абсолютном движении, так, что мировой поток никогда к прежней ситуации не возвращается, то именно потому, что тождество в различии уже достигло в вещи насыщения. Позже из этого Гегель делает вывод, что понятие является временем вещи»². Однако есть риск оказаться в ловушке определения. Понятие исчезает и возрождается таким способом, что невозможно заметить, на каком промежутке совершается подмена. Поэтому «овременение» понятия содержит парадокс. Как попытка зафиксировать время во время нехватки времени.

Тяготение быть под пристальным ухом разбойника, который обладает вредоносным сокровищем, и именно поэтому содержит ценность. Перспектива наблюдать, как мышление распадается на вирусы, сбоит, замыкается. Потайное томление по перемене, которая ничего не меняет, но сближает с пустотой. Необходимость лишнего, потустороннего ответа. Смущённое желание, но такое зрелое и концентрированное, как сгущённое молоко, измазало напрочь.

Я перестаю думать и вхожу в анализ. По всем канонам инфантильности, выбор падает на предсказуемый авторитет в лице известного взыскательного аналитика. Неведомый вид отношений другого порядка, где жёсткие дисциплинарные условия сначала звучат как приглашение: принять правила игры и сделать шаг в любом направлении. Утончённая уловка. Позже ураганом сметает навязчивый ум вперемешку с телесным потрясением. Правила нужны для психоза. Точнее, чтобы от сеанса к сеансу наращивать психотизацию, перекраивать вшитые цепочки убеждений.

Я приношу речь в жертву. Перевожу её, переписываю, перемещаю, прерываю, чтобы в конечном счёте прозаически предать. То есть отступить от собственного голоса, который притворялся родным. Мысли-незнакомцы пришельчески вселяются в органы памяти и хаотически размножаются. Благодаря структуре забвения или участкам слепоты, которые очерчивают границы очевидного, возвращается заброшенная речь — путем припоминания того, что казалось утраченным. Преследует вопрос принадлежности.

*«Руки мои
открывают продление твоего бытия,
одевают тебя вместе с другими нагими,
находят тела рядом с телом.
Руки мои
сочиняют другое тело для твоего».³*

Моим является то, что моим не является. Началом желания становится преграда (непонимание, возмущение, раздражение, оцепенение, тошнота, дрожь). То, что ощущается как чувство уязвлённости. Недостаточность перед другим — соавтором препятствия. Рефлекторно хочется освоить это чувство: съесть, переварить. Чтобы оно стало доступным для утилизации, чтобы

² Лакан, Жак. Семинары. Книга 1. Работы Фрейда по технике психоанализа. Созидательная функция речи. — М: Гнозис; Логос, 1998

³ Пас, Октавио. Ощупью. Пер. Алексей Чипига

оно продолжало повторяться. Поэтому, когда восполняется недостаток, желание наоборот, закрывается, так как преграды больше нет. Другой неизбежно истеризует. Осторожно, но явно требует признания исключительности и неповторяемости. Требует постановки на правильное место в схеме уравнения. Я сопротивляюсь и одновременно восхищаюсь подобной дерзости.

Вследствие алогичного допущения, что моим является то, что моим не является, можно сделать вывод. Я удерживаю желание, пока другой настаивает на своём.

«В любом подобающем (приземленном) исследовании это моё я, которое в отношении ему подобного — отбрасывается, оно — ничто (о нём знать ничего не хотят); но именно как ничто (как иллюзия — иллюзия как таковая) оно и отвечает насущному моему требованию. Коль скоро ставится вопрос о субстанциональном существовании, как раз что рассеивается в этом моём я (что кажется ничтожным, а то и постыдным) и есть, значит, то, чем оно хочет быть; оно и домогается этой пустой, невероятной щеты на грани ужаса и лишённой каких бы то ни было отношений с миром»⁴.

Желание символического убийства: отказаться от жажды присвоения, от поиска одобрения, от обмана субъектности — в обмен на предельное обладание другого. Готовность исчезать — это свобода быть прозрачным, быть без места, уступать себя. Посреди этого шумного мира оставаться шёпотом. Желание быть съеденным до конца.

Человеческая речь через акт высказывания буквально призывает войти в пространство евхаристии: вкусить плоть и кровь последствий говорения, преодолеть пустословный лабиринт означающих, совершить ритуал единения фантазматического с тем, что лежит на поверхности языка и ожидает произнесения.

Христос берёт тревогу как визионерство и даёт ей речь. Принимает сыновство как живой Фантазм об отце. Фантазм благовествует. Христос исповедуется богу (откровенный рассказ), а бог, в свою очередь, создаёт мир из ничего. Бог-креационист, исходя из природы любви, творит мир. Как Иван Бездомный, создающий параллельное Евангелие от Мастера, записанное Булгаковым. Бог это тот, который есть. А тот, которого нет, есть я.

Значит есть трещина на мифической карте реальности, в которой потенциально творится Форма. То, что может определяться как Смысл в отношении себя самого. Его скручивание, складки, дыры, выворачивание в себя самого. Смысл просачивается в мир, панически выходит из себя в момент, когда возникает ситуация превращения. Воздушная оболочка речи рассыпается на плотные сгустки молчания. Такое острое отсутствие слов, животная растерянность от неспособности их выразить. Так звучит остановка дыхания — безъязычно, и его воскрешение в колючую тучу света, которая ранит. Как внезапный удар бессознательного, нарушающий привычный ход вещей, именно молчанию удаётся совершить переход из пещеры снов наяву, из режима дремлющего зрителя, в то место, где честно открываются глаза и уши, без права на запрет увиденного и услышанного. Болевые аппараты приближения к сознанию. Если знание — это психическая нагруженность молчания, значит в конечном счёте это то, что заставляет его нарушить.

Я стою в мыслях внутри анаморфозы. Зажатая в фазе искажённого пейзажа. Мир прячется как вымысел — неуязвимый — в своём неуловимом основании — клишируется в предсказаниях о том, что облаком измышлено.

⁴ Батай, Жорж. Внутренний опыт. — М: Аксиома, МИФРИЛ, 1997

@Киршин

Сколько было звёзд



Мемуары, которые предлагаются читателю, принадлежат Владимиру Киршину. В декабре прошлого года пермский прозаик начал вести Telegram-канал @Киршин, в котором публикует воспоминания о детстве, юности, творчестве и литературной жизни Перми. С любезного разрешения автора «Вещь» публикует избранные места из телеграм-канала, которые касаются литературного быта Перми 1980-х и начала 1990-х годов.

Редакция

Его мы проскочили небрежно. При всем уважении к Джорджу Оруэллу, нам была по барабану его антиутопия. У нас была своя жизнь — яркая, стремительная. Про «народовольцев/маргиналов» написано много, — кроме них в Перми группировались и творили другие, разномастные самодеятели: мягкие барды (Олег Филичкин, Сергей Назаров и др.), жесткие металлисты («Акция», Стафеев — Степанченко и др.), киноклубы («Клуб госторговли» Владимира Самойловича, «Три скамейки» Евгения Тмарченко). А фантасты! Клуб любителей фантастики проковырял большую дыру в железном занавесе — вступил в переписку с Западом и распространял нереконмендованную литературу, — вообще кошмар, да?

Никакого кошмара, у всех свои роли.

В один из приятных вечеров 1984 года в кафе «Театральном» сыграли слайд-поэму «В тени Кадриорга», уже в третий раз украли 700 полотенец, всё хорошо, пошумели, посветили лампочками. В свою очередь на подиум вышел поэт Юрий Беликов, своим замечательным голосом пытался гипнотизировать зал, нагнетая в басовом регистре:

*Я был из тех, кем я страшился быть.
Пришла за мною вечером машина.
Меня везли нагрудные значки
по Брянщине осенней. Ящик водки
подрагивал у ног моих. Машина
свернула с магистрали. Лай собак
вогнал по шляпку в спящую округу
последний гвоздь. И спицы наших фар
к вязанью приступили. И катился
лес шерстяной. И слышал я, как страх
ползёт по мне — иль, может быть, какой-то
колючий самовяжущийся свитер.
Я снять его пытался. Но не смог.
И только лишь спросил: — Куда мы едем?
<...>*

Красиво. Страшно-красиво. Я когда-то тоже массировал свой экзистенциал страха («Привет от доктора Фрейда», 1988), теперь избавился от этой дурной привычки, начал жить.

Какие там монстры? Там даже мелких бесов не сыщешь, все — люди, все тутошние, из одного роддома. Лена Пантюшкина, инструктор горкома комсомола, стукнула начальству. Она в тот вечер присутствовала в кафе «Театральном» (Кто ее позвал? Да Паша и позвал, поди). Присутствовала — и не возражала. Но ее не пригласили на банкет. Пашка, Виталик и Славик с друзьями, в эйфории, пошли пешком на Народовольческую, пить «Боровинку», а Пантюшкину забыли. Опаньки! Так не принято, так нельзя. Инструктор стукнула.

Отчет товарища Пантюшкиной о мучительном прослушивании враждебных стихов в кафе «Театральном» пришелся как нельзя кстати. В Пермском обкоме КПСС который год уже проводились мероприятия по усилению воспитательной работы с молодежью. Главный воспитатель Прикамья Корсаков, Николай Иванович, был крайне недоволен культурным уровнем современной молодежи вообще, и в частности — своим сыном Витькой.

И я его понимаю: Витька Корсаков учился в нашей школе — курить он научился быстро, а играть на гитаре — нет. Большой веселый оболтус, он пускал лохматых гитаристов репетировать в свою, то есть отцовскую, квартиру, когда бати не было дома. Но батя приходил с работы и чуял неладное. И в воспитательных целях читал Витьке свою диссертацию, выбранные места.

Диссертация в сафьяновом переплете хранилась в серванте, в ларце из карельской березы с чеканкой. Название звучало гимнически:

«РУКОВОДСТВО ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТОЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЕМ ИХ РОЛИ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ» (1965).

Роль никак не повышалась, мешали враги, и Николай Иванович в 1984 году собрал своих подчиненных на последний, решительный бой. Коллективными усилиями, чуть не надорвавшись, руководители пермской культуры издали грозное ПОСТАНОВЛЕНИЕ: исправить искривления текущего момента! Гора родила мыш, ну и что, не впервой. Ведомства взяли под козырек и позакрывали все, что под руку попало, в том числе Клуб любителей фантастики, дискостудию «Поиск» и совсем уж ни в чем не виноватое кафе «Театральное». Коммунисты-пропагандисты (тоже, кстати, обыкновенные, тутошные ребята) очернили, как могли, диско-«происк» в своих брошюрах, чтобы прославить мудрость руководства. Вот и весь Оруэлл.

Поначалу и я оцепенел перед этим драконовским жестом. Потом понял, что мой страх полезен Дракону. Больше того – он, Дракон, сделан из наших страхов. И делаем его мы. А выгоды приобретают – они. Как быть?

У меня уже был написан рассказ «Нищий Принц, или Поселение подкожного клеща». Что с ним делать, я не знал. Подарить кому-нибудь? По совету друзей, я с рукописью отправился к Решетову.

Решетов — кто такой? Почему не знаю?

У меня в голове тогда царствовал Андрей Вознесенский:

– Я – Гойя!
Я – горло повешенной бабы, чье тело, как колокол,
было над площадью голой...

У меня в голове чудили кронопы Хулио Кортасара, на комариных ножках бегали слоники Сальвадора Дали.

А Пашка мне (он всех знает) говорит:

– Ты сходи, сходи в Союз писателей. На Карла Маркса, 30. Спроси Алексея Леонидовича. Запиши, а то забудешь!

И хихикнул загадочно:

– Поговори с ним про слоников.

Ну, я сходил, чё. Никого не было, я отдал рукопись секретарше.

Позже мы с ней подружились: Раиса Михайловна Меладзе, бухгалтер, кассир, секретарь-машинистка. О ней, если буду жив, книгу напишу – как она помогала по хозяйству Светлане Правдиной, жене «советского барина» Льва Николаевича Правдина, писателя, сперва отмотавшего 19 лет в лагерях, а потом отбившего ее, Светлану, у полковника КГБ! – это вообще сюр, а не история, что ни слово, то парадокс. Они со Светланой мне ее напели дуэтом на диктофон.

Но это было много, много позже, а тогда, в 1984-м, Союз писателей меня встретил густым запахом макулатуры и табачного дыма – почтенным запахом старины, и еще богемы, безделья в законе. Как это, должно быть, приятно – нигде не работать, только писать, – прошла мимо такая мысль.

У меня была интересная работа – я конструировал опытные образцы средств автоматизации, вел занятия и принимал зачеты у студентов. Мне не нужен был Союз писателей, и писатели мне были не нужны. Только книги, некоторые. Я читал «Облако, золотая полянка» (пленитель-

ная вещь). В детстве читал «Ивана Семёнова» (без удовольствия), «Друзья мои, приятели» (с удовольствием). Мама моя обожала Давыдычева, да, но это ему, скорее, в минус: мы с мамой не ладили.

Рукопись я списал в невозвратные потери и забыл думать о ней, как вдруг. В почтовом ящике письмо – на машинке подробный разбор моей прозы «Нищий Принц, или Поселение подкожного клеща»:

*... Рассказ производит на первый взгляд весьма приятное впечатление
..... Но это все т. н. «блохи». А вообще рассказ
вполне может быть напечатан, если редактор закроет глаза на вторичность, на «фирмен-
ность» Вашего произведения.*

Литконсультант – А. Решетов

Я разволновался не на шутку. Понимаете, одно дело показать чужому человеку юморную бездельницу, другое дело пустить его к себе в душу, ведь, как ни шифруй, этот текст – про меня, и, похоже, этот литконсул меня раскусил. При этом он кое-что понял превратно, – это нервирует. Способов успокоиться два: убедиться, что он козел, или объяснить, чтобы он понял. А как объяснить? Показать другие свои тексты.

Но прежде посмотреть ему в глаза.

Короче, я пошел смотреть в глаза Решетову.

Шучу, в смущении. Как-то не принято у нас об этом. О боли. А она, по-моему, базовый мотив. Очень сильный мотив, нестерпимый. Поведать миру о своей боли, в обход табу, изысканными словами, полунамёками, – вот высший пилотаж. Кто-то это называет «творчеством». Я – нет. И Решетов избегал. И Соколовский. Но не в терминах мы поладили, а в боли.

У него свои обстоятельства. У меня свои. Но опыт боли роднит. Как-то так.

Нормально пообщались. Сели бок о бок и, глядя на ручку двери, проструили два часа.

– Не моя эта работа – консультация. Не для меня, – хрипло, через силу говорил Решетов, поэт. – Она меня в гроб загонит, я уже ненавижу шорох бумаги. Графоманы несут, я – читай, отвечай... Когда это кончится?..

Он много курил, неловко прижимая дешёвую сигарету покалеченным пальцем. Не глядел на меня, лишь изредка поводил в мою сторону измученными, запыленными глазами и сразу уводил взгляд, чтобы я не заметил боли и не принял вины на свой счет.

– Ваша рукопись, Володя, для меня утешенье. Несите еще.

Дома я нашел его стихи:

*Нет детей у меня. Лишь стихи
Окружают меня, словно дети,
Но они и бледны, и тихи,
Не живут они долго на свете.
Дорогой, потерпи до утра,
Золотой, подожди до рассвета,
Завтра утром придут доктора,
Мы на дачу уедем на лето.
...И опять – словно снег – черновик,
И перо – словно посох скрипучий,
И рука – как безумный старик,
И свеча – как звезда из-за тучи.*

В январе 1986 года я принес Решетову шесть рассказов, по его просьбе.

Спустя три месяца получил консультацию Алексея Леонидовича, весьма дружелюбную и при этом строгую, отчетливо выражающую его вкус, по состоянию на апрель 1986 года. Именно вкус – литературоведом и, тем более, критиком он себя не считал.

Вот некоторые замечания, для него характерные:

«Игра ума» – это плохо.

«Искусственная конструкция» – это Вознесенский, игра ума.

Тут я не понял. Неприязнь к игре ума – эстетическая позиция Решетова? Как бы не так! Мою нарочито искусственную конструкцию – рассказ о *психокulturисте* под названием «Вершина» – Алексей Леонидович неожиданно одобрил!

А Нина Евгеньевна Васильева этот рассказ категорически отклонила, – вот и поди пойми.

– И вообще, всё – очень хорошо! – ликовал Алексей Леонидович. И предупреждал меня: – Будет разделение мнений, уже сейчас Давыдычев брюзжит: «Новое и-и-имя!»

Такова была реакция главы писательской организации на очень положительную рецензию Владимира Соколовского в отношении прозы Киршина.

– Надо эту прозу напечатать вместо прозы Давыдычева! – веселился Решетов в курилке. И размышлял вслух: – Надо составить книгу. Но нести Давыдычеву не стоит: больной, занятой, ментор, любит мариновать.

Решетов искренне хотел понять чуждую ему стилистику. И не понимал. Стихи Славы Дрожжащих не давали ему покоя, он, к месту и не к месту, негодовал:

– Почему я должен разгадывать его ребусы!

В 1986 году Владислав Дрожжащих завершил свой лироэпос «ЗЕМСКАЯ НЕДЕЛЯ». Ряды и колонны строчных букв:

1.
небо склонное к ожирению
небо склонное к ожиданию

парады блестящих дружин

иерархия кур
эпидемия тифа
 <...>

У меня в прозе стилистика была тоже – разная, пестрая, как жизнь: что-то Решетову заходило, что-то отвращало. И он давал читать мои рукописи Владимиру Соколовскому, Борису Зеленину, Надежде Гашевой, Николаю Домовитову, да всем подряд, налево и направо. И Давыдычеву, кстати, не утерпел, подсунил. Ему было интересно поговорить, кольнуть мэтров острым материалом, поспорить. Время такое пришло – спорное, 1986 год. «ГЛАСНОСТЬ» – все, кто мог, зашевелились. Кто не мог, ощетинились.

Он направил меня в литобъединение. Был такой лифт наверх, в издательство книг.

Недавно там, в секции поэзии, обсуждали стихи Виталия Кальпиди.

– Что-то у него дело идет туго, – обронил озабоченно Алексей Решетов, имея в виду издание книги.

Замечания Алексея Леонидовича я с благодарностью принял, внимательно изучил и, молча, отверг. А в литобъединение решил сходить, посмотреть что там и как. Точнее: кто там? Что за люди?

Литературное объединение при Союзе писателей — это, как я понял, питомник молодых талантов, где их выращивают на убой.

Мою иронию по отношению к официальным институциям легко объясняет Исаак Ньютон: действие равно противодействию — чем больше идеологического давления с одной стороны, тем больше иронии, переходящей во враждебность, с другой. Но куда на меня в Союзе писателей никто не давил, я, готовый ко всему, только пошучивал слегка.

Литобъединение выглядело бодро. Собирались в кружок начинающие авторы (3–5 человек) и обменивались рукописями. После — впечатлениями. Высказывались в очередь, никто в драку не лез, хотя люди молодые, каждый мнил себя гением. Нормально.

Состав участников был изменчив. Чаще других приходили Марина Крашенинникова, Татьяна Соколова. Заходили погреться Юра Асланян и Толик Субботин. Прибегала Нина Горланова, просилась выступить без очереди: «Дети дома одни!» — быстренько хвалила всех и убегала; кроме издания, ее интересовала матпомощь от Союза. Зато почти всегда, как на работу, приходил Виталий Богомолов, — он мечтал «стать писателем» (его слова).

И я тоже зачастил, хотя «стать писателем» я не хотел. Хотел — быть. «Стать» я относил к «статиму». «Ставший» — стоит на постаменте. Или висит в красивой раме на стене. Я не хотел ни стоять, ни висеть, ни сидеть в президиуме. Я хотел — жить. Критически оглядывал стены писательского дома, увешанные портретами заслуженных покойников.

Но вот в «прихожей» этого дома, в литобъединении, мне было интересно. Знакомиться с людьми посредством текстов, уточнять свою позицию по отношению к чужой, раздражающей позиции, — полезно. Такая «баня». Выходил на волю мокрый, взмыленный. На ходу восстанавливал рассудок, успокаивался. Кому-то такие процедуры вредят, мне они были на пользу. Я учился самообладанию всю жизнь, и сейчас учусь.

Секцию прозы возглавлял писатель Михаил Голубков. Улыбчивый, добродушный Миша, по общему мнению, очень любил природу. Это была его фишка. В 1986 году он готовил к изданию сборник своих рассказов об этой любви под шокирующим названием — «Пойду глухаря добуду». Я, в ту пору буддист, сочувствовал глухарю.

Руководители пермского литобъединения: Миша Голубков — секция прозы, Ваня Лепин — секция стихов.

Курилка — смысловой центр писательского дома. Курили все. Курили так, что стены выгнулись дугой и окаменели. Курили сурово, как на войне, и фотографировались для фронтисписа книги — сдвинув брови, с папиросой. В 1980-х — с березкой. В 1990-х — с двумя березами и куполами вдали.

Нина Горланова и ее макротема

Как я стоял в очередях Хрущёва! Как я стоял в очередях Андропова, потом Черненко!.. Нет, в очередях Брежнева я не стоял — молодой в ту пору, наглый, я лез без очереди. Зато как я стоял в очередях Горбачёва — с книгой в руках, с другой книгой в голове, с третьей книгой в сердце! Очень много надо было прочесть, очень много написать. Конец 1980-х: разрешенные литературные шедевры хлынули потоком, и — так совпало — у меня открылась «фаустовская жажда бесконечной широты жизни» (Н. Лосский).

Широта настоящая — когда в подлом быту находишь высокий смысл, и потому бытуешь азартно, с огоньком.

Мне на кафедре шеф дал личное задание (тоже симптом времени: все задания стали — личные, а не от имени Партии). Задание — зажигать «огоньки», для таинственного майора.

Странный случай. Шеф привел ко мне майора артиллерии, чтобы я для него изобрел пусковую установку на 24 ракеты. Не задавая лишних вопросов, я принял техусловия (пусковая установка – для фейерверка, вероятнее всего; китайской пиротехники в Перми еще не было), уточнил сроки исполнения и сгорбил над столом, ожидая, когда они оба уйдут.

Они ушли, и я тотчас покинул рабочее место, оставив для «эффекта присутствия» на подоконнике шляпу. На углу Красноармейской в магазин сегодня должны были завезти котлеты. Я примчался вовремя, народу битком, но я нашел хвост и занял очередь.

Я был тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Там я изучал лица и манеры, слушал жалобы и брань, полагая, что все это – «широта жизни». Чтение в тот день я с собой не взял, мне надо было уйти, чтобы попасть еще в одно место. Я закрепил еще один «эффект присутствия» в очереди, галантно попросил разрешения у задней тетки отлучиться на 10 минут, она поклялась, что не уйдет, и я помчался на улицу Чкалова, надеясь вернуться через 20 минут, все равно очередь на полтора часа.

На улице Чкалова, судя по бумажке, которую мне дал мой новый знакомый Слава Запольских, жила молодая писательница Нина Горланова. Они там написали жалобу на притеснения «молодых», и Запольских попросил меня прийти к Нине, подписать. Это был 1987 год, время петиций в Москве, и надо что-нибудь замутив у нас, в Перми, как я понял.

Нашел я дом, взлетел на этаж, звонок не работает, замахнулся постучать... А на двери грабительное объявление: «НЕ СТУЧАТЬ! Мы работаем до 17 часов!» Я смотрю на часы – 16:46. Фигня, думаю, я тоже на работе. Снова замахнулся... А ниже еще одно объявление приколото: «Ну вы люди или нет???? Не мешайте работать!!!!!»

Отошел в раздумье. Окрик грубый, конечно, но, похоже, Горланову достали. Что делать? Уйти? Получится – зря бежал в такую даль. Подождать? Рискую котлетами! Посмеялся над дилеммой. Погулял четверть часика. Постучал вежливо.

Открыла хозяйка, само радушие. Мы были знакомы с Ниной Горлановой, виделись в объединении. Познакомился с хозяином. Слава Букур, большой, босой, без бороды в ту пору, веселые глаза, сел на стул – изготавился общаться. Пришлось войти и сесть, хотя я на минутку. Вошел, не раздеваясь, присел у двери: спешу. Где подписать?

Дали мне бумагу, я глянул, и у меня сразу вопрос: кого притесняют? У Нины только что книжка вышла – «Радуга каждый день». У меня рассказ в сборнике «Литературное Прикамье – 87», у Букура – тоже.

Ох, огорчил хозяйку таким вопросом – кого конкретно притесняют? Глупый вопрос, если по правде. В нем слышится совковое недоумение: неужели в нашей прекрасной стране кого-то притесняют?

Кого притесняют??? – Нина Горланова эмоционально и очень подробно отвечала на каждый из этих пяти вопросов. «Теснота», похоже, была ее макротемой, так же как моей макротемой была «Широта». Стратегия «бесконечной широты жизни», которую я тогда практиковал, позволяла мне вместить всю боль собеседницы. Конечно, Нина страдала.

С мукой в глазах она рассказывала мне о хамстве соседей, о черствости властей, о преследованиях КГБ. Маляры в люльке за окном ей казались сотрудниками органов, ведущими наружное наблюдение, действующими открыто и вызывающе против нее. Возмутительно!

Я знал, что не она одна – точно так же страдал Витя Хан (в будущем – Мацумаро) перед отъездом. Он рассказывал мне феерические подробности преследований, которые невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, как любой ад. И как его утешить?

Я когда-то давно пытался урезонить одну даму, утверждавшую, что евреи запотевают ей окна. «Ни у кого не запотели, а у меня одной запотели! – нервничала дама. – Я нарочно обошла весь дом: ни у кого не запотели, а у меня запотели! Это евреи! Они мне мстят!» Я спускался к ней в ад, чтобы разбавить его собой, развлечь. Ничего не помогало.

Опыт боли роднит? Не всегда.

Я слушал Нину, молча кутаясь в пальто. Мысленно рассеивался по всем своим многочисленным «местам присутствия», чтобы не взорваться здесь. А она, страдающая, искала сочувствия и прибавляла красок, и усиливала нажим, чтобы пробить мою якобы глухоту. В ход шли истории предательства друзей, которые предлагали ей, писательнице, устроиться на работу, чтобы прокормить детей. Оскорбительное предложение – друзья, называется!

Не желая попасть в «предатели», я решил уклониться от дружбы. Вернее сказать: меня накренило и повело прочь. Я поднялся с места.

– Мне пора, до свиданья.

Нина вспыхнула радушием:

– А вот у меня книга вышла. У тебя есть? Я тебе надпишу! Слава, дай ручку.

И тут я совершил грубую ошибку, о которой жалею до сих пор. Я отказался взять книгу у автора. Маленькая, тоненькая книжка с приятным названием, она легко поместилась бы в кармане! Нет, я замямлил что-то, затряс патлами, прикинулся неграмотным, недостойным царского подарка, и, не попадая в двери, выбрался наружу. Так и не подписав петицию. Категорически! У нее только что вышла книга – а она жалуется!

Мне было худо, поток жалоб захлестнул и тащил на дно. Я, как и все, гонялся за дрянной колбасой, как все, стоял в очередях за дрянными котлетками, как все, строил из дрянных палочек уютный дом, при этом работал на трех работах, потому что денег катастрофически не хватало – у меня к тому времени было уже четверо детей, и я твердо знал, что никому нет дела до моих проблем: всем было тяжело. Более того, я должен был улыбаться на все четыре стороны, потому что на меня смотрели младшие – близкие и дальние: студенты, кружковцы. Конечно, мое бодрячество никого не утешало, скорее наоборот. Но я думал, что я – должен. И об этом писал книгу – о том, как вынырнуть из личного ада без жалоб и обид, безо всяких петиций, – роман «Чутье совершенства». Я еще не рассказывал? Не важно. Всё в прошлом.

Важно то, что мы подружились со Славой Букуром, а через него – с Ниной Горлановой и их замечательными детьми: Агой, Дашей, Соней, Антоном. Устраивали карнавалы, – я сохранил видеозаписи счастливых вечеров. Но самое главное – их творческий путь, совместный труд Славы и Нины навстречу друг другу.

На моих глазах происходило «боевое слаживание» тандема: Нина Горланова и Вячеслав Букур. Прежде это были два отдельных автора, а теперь их различить в тексте трудно, да и незачем. Вижу – сплав, великолепный фьюжн.

Надеюсь, и в жизни у них – то же. Аминь.

Свобода — 1987

Нам открыли доступ к литературному наследию, со страниц толстых журналов хлынула перестроечная проза.

И началось. У меня украли «Белые одежды» Дудинцева! В главном корпусе политеха. Я на лекции похвалился перед студентами, что в библиотеке мне выдали журнал «Нева» с бомбой – романом Владимира Дудинцева на тему «лысенковщины» – технологии подмен, подстав и репрессий в науке, написанным на высоком духовном уровне. Естественно, роман был запрещен, а в 1987 году разрешен по причине «гласности». Я ждал очереди два месяца, и вот дождался: четыре номера журнала – вот они! – показал аудитории. И у меня их немедленно сперли. Все четыре томиков на переменке вынули из портфеля, когда я вышел в коридор подышать.

Я ночь не спал: за мной были записаны люди, они ждали, чтобы почитать. Они могли подумать на меня, что я мог оставить Дудинцева себе! Я вычислял вора, и не мог заподозрить никого – все мои студенты были зайки, так мне казалось. Мог – не мог, я вернул бесценные

томики на следующий день, но в бороде моей появился первый седой волос, а в бочке надежд бактерия озабоченности: как в будущем могут повести себя освобожденные россияне?

Наши из подполья вышли в лидеры современного искусства.

В Перми «Клуб поэзии» (Виталий Кальпиди) и МТЦ «Инициатива» (Варвара Кальпиди) проводят турнир бардов в ДК Строителей. Победители турнира, пермяки: Евгений Матвеев, Олег Филичкин, Валерий Постников. Победители турнира, свердловчане: Геннадий Перевалов «Мистер Блюз» (специальный приз «Молодой гвардии» за жизнерадостность и оптимизм), Раиса Абельская, Леонид Ваксман, Андрей Кутелия.

Легко ли быть молодым? — острая тема. В киноклубе Тамарченко, в ДК Строителей, жарко спорят о документальном фильме Юлиса Подниекса под этим названием — «Легко ли быть молодым?».

Латыши были тогда нашими сводными братьями, помните?

«Инициатива» привезла нам настоящих митьков из Ленинграда. Место для выставки дерзких картинок выбрали чудесное — в Доме чекистов. В круглый зал пермского Союза писателей набилось столько молодежи, сколько там не было ни до, ни после. Бродили между стендов, сидели на полу. Резонанс был неожиданно силен: у митьков в Перми появились адепты, ёлы-палы, самый известный — Митя Долматов-дык, сделавший митьковство стилем жизни.

Как мы с Букуром протестовали

Пришёл ко мне на работу Слава Запольских и говорит:

— Мы с Букуром сочинили письмо аятолле Хомейни. Письмо протеста! Оно у Нины Горлановой. Зайди, подпиши?

Ну, я зашёл к Нине. Я любил поговорить с её мужем Славой Букуром.

1989 год, в стране веяло протестами, мы все напряженно определялись, кто с кем и против кого. Никто ничего не понимал, включая Михаила Горбачева, которого аятолла Хомейни в личном послании призвал отказаться от коммунизма и обратиться к Богу. Лидер Исламской революции предполагал, что у него с Генсеком КПСС один общий Бог. Одновременно иранец проклял писателя Салмана Рушди, британского подданного индийского происхождения, и призвал мусульман всего мира уничтожить его книгу, а его самого поймать и убить, где бы он ни находился. Такая книга, под названием «Сатанинские стихи», — из-за неё Великобритания порвала отношения с Ираном, — вот бы её почитать! Но негде. Постановили: мы книгу хотя и не читали, но мы *против уничтожения книг и писателей*, вообще и безусловно.

Я предложил провести собрание литобъединения, собрание сводное — обеих секций: поэтов и прозаиков. Поэты как раз, по расписанию, должны были собираться в Союзе писателей, обсуждать стихи начинающих авторов, и мы со Славой Букуром, вдвоём, заявили к ним с приглашением на митинг.

Союз писателей располагался в Доме чекистов, конечно, не случайно. Обе эти славные организации, писатели и чекисты, «делали одно дело», — ёрничали мы со Славой по дороге, отчего-то волнуясь.

В молодых поэтах мы не сомневались: они наши сверстники, тем же портвейном вспоены, теми же амбициями — улучшить мир — заряжены. Да и среди старшего поколения, мы знали, ходили волны свободомыслия, но... Так мы подбадривали друг друга, отворяя тяжкую дверь.

Входим, в дальней комнате за длинным столом сидит творческая молодёжь, человек пять или семь, несомненной поэтической наружности, все в вольных позах. Во главе стола поэт-наставник Иван Лепин. Хотя не помню, был ли он в тот день, почему-то я его не заметил, то ли он стусевался, то ли это я внутренне сбросил его с парохода современности.

Раньше оно как было устроено: начинающие авторы приносили секретарю Раисе Медладе свои творения. Их читал литконсультант Союза писателей Алексей Решетов и сортировал: первый сорт рекомендовал для обсуждения в лито. Там рукописи грызли молодыми зубами члены лито, и то, что осталось, поднималось на второй этаж, в знаменитое Пермское книжное издательство — гордость Прикамья. Здесь его читали профессионалы — Александр Лукашин, Надежда Гашева, Борис Зеленин... Именно они решали судьбу книги и автора, а не какой-то перс на букву Х. Такое было сито. Выход книги означал признание профессионалов. Но я не о том.

Входим это мы к братьям-поэтам: здравствуйте, простите за беспокойство, мы на минуту, пригласить вас на митинг.

— Зачем? — настороженно вопрошает рыжий кудрявый молодец — Игорь Тюленев. Он в 1989 году рыжим был, сейчас — седой, совсем белый стал, но принципами не поступился.

Мы со Славой, дуэтом, докладываем международное положение, тревожную обстановку в Иране, книжные костры и угрозы писателю.

— Мы должны заявить свою позицию. А прежде определить её. Вот, мы за этим к вам. Мы против уничтожения книг. А вы?

Ох, что тут началось.

— Да на фиг! Да кто будет читать это ваше письмо!

— Да кто такой этот Рушди?! Мусульманин! — витийствует Тюленев. — Его «Сатанинские стихи» — порнография!

Как будто он их читал! Смотрю — Слава Букур нервничает, в такт своей ответной речи долбит указательным пальцем в старенький писательский стол, а палец у него тяжелый и твердый, как дворницкий лом, и весу в Букуре в три раза больше, чем в Тюленеве. И книг он прочёл в тридцать три раза больше Игоря, и арабский язык знает, и Коран читал, и иврит преподавал евреям-отъезжантам... Впрочем, последнее обстоятельство в глазах русопетов зачеркивает разом все добродетели Вячеслава Букура.

— Жечь книги — это фашизм! — горячусь я.

— Нельзя позволять, — вступает в спор поэт Коля Бурашников, и я благодарно киваю, а он... Заикаясь, но непреклонно Коля подсекает меня с неожиданной стороны:

— Нельзя позволять это самое — делать из своей религии плевательницу.

Меня накрывает грусть. Их поэзию уродует гражданственность. Мою прозу уродует протест. Битва уродов, эх... Где Красота, которая спасёт мир?

— Ладно, — говорю, — пойдём, Слава.

В дверях оборачиваюсь.

— Для наглядности, — говорю. — Поднимите руку — кто против уничтожения неугодных книг и их авторов?

Напоследок мне захотелось насладиться поражением. Поражением гуманизма и свободы творчества в этом учреждении. Но что я вижу?! Девочка-глазастик, одна-одинёшенька среди угрюмых мужиков, поднимает тонкую, прозрачную руку. И не роняет её, держит, держит.

— Единогласно, — горько пошутил Букур.

На улице Карла Маркса к нам кинулся свежий ветерок, обдул наши лбы.

— Кто эта кроха? — спросил я друга Славу.

И друг ответил:

— А ты не знаешь? Это Ксюша. Дочь Нади Гашевой.

— Пишет?

— Пишет.

Любимая газета в 1980-х – «Молодая гвардия». Главный стол в ее редакции – теннисный, в коридоре. На нем режутся в теннис Славка Дрожащих и Вадик Капридов, приговаривая на каждый удар, попеременно и на разные лады:

- Орлайт!
- Здесь вас не стояло.
- Орлайт!
- Здесь вас не стояло.
- Орлайт!

Маппет-шоу в «Маппет-гвардии».

Поясню для молодежи. В 1989 году Центральное телевидение показало советским зрителям англо-американский кукольный сериал Muppet Show, и Дрожащих подхватил тему: вообразил себе кукольную маппет-редакцию с юмористическими маппет-корреспондентами, пишущими маппет-глупости про маппет-жизнь. Так, маппет-сотрудник Юра Беликов придумал маппет-журнал «Дети Стронция». Маппет-Стронций обиделся и вызвал маппет-Юру на маппет-дуэль теннисными шариками, но тот уклонился. Орлайт.

Ну, конечно, если отбросить кукольный юмор, то Юра Беликов – герой. Легализовал андеграунд. Не в одиночку, разумеется, с помощью товарищей и при поддержке комсомола.

Через трещины асфальта андеграунд вырвался наружу – хлестанул гной и свежая кровь вперемешку с мусором. Традиционалистов затошнило.

Необходимая стадия оздоровления андеграунда – публикация накопившегося материала. На свету стало понятно качество произведений. Очень разное. В отличие от контента журналов-толстяков, с их стандартами, – ну очень разное качество. И как их объединить, произведения неформатные, неопрятные, часто неадекватные? Ну вот, Беликов и Капридов придумали сообщество мутантов – «Детей Стронция».

Графическая разработка Вадима – просто шедевр. До сих пор цепляет, электризует.

Имени Владислава Дрожащих в выходных данных нет, но есть его призрак, он витает в каждом номере – стилистические совпадения резонируют и искрят. А ведь тридцать пять лет прошло.

Вначале названия не было. Юра собирал рукописи будущего издания и искал подходящее название. Позвал меня к себе домой на мозговой штурм. Там была засада: Слава Дрожащих с прутиками, – он играл в лозоходца, искал в квартире воду. А – нет! Он мерил мое биополе! Да, да, он целился в меня прутиками и огорченно качал головой – очевидно, мое биополе было на нуле. Поэтому, сколько я ни тужился, ничего подходящего предложить не смог. Название предложил Анатолий Королёв – «Дети Стронция».

А я предложил для публикации свой рассказ «Нищий принц, или Поселение подкожного клеща». Это мы в редакции сидели, тет-а-тет, Юра принял мои тощенькие листочки двумя пальцами, как мокрый подгузник, и сунул их в картонную папку с надписью, карандашом, небрежно: «ПРЕЗРЕННАЯ ПРОЗА». Он был великолепен, Юра, в модных штанах. Немедленно сочинил на меня эпиграмму (не скажу, какую, смеяться будете).

Но мой рассказ опубликовал в первую очередь, в первом номере. И гонорар мне начислили, в соответствии с площадью текста, больше всех. Отмечали дебют «Детей С.» где-то на хате, по пути Слава Дрожащих добыл вино без очереди, там была гитара, мы с Беликовым импровизировали мелодекламацию: он читал замечательным густым голосом свои стихи, я сопровождал его в блюзовой манере...

Роберт Белов как датчик пульса

В 1989 году мне позвонили из издательства и пригласили на встречу с составителем сборника «Пульс-89» Робертом Петровичем Беловым.

— У него есть замечания по вашему рассказу «О Целом».

Мой рассказ «О Целом» литконсультант Алексей Решетов оценил так:

— Это не *осоавиахимовская* проза.

Слово ОСОАВИАХИМ мне не нравилось, но восхищенная интонация Решетова была приятна. По его рекомендации рассказ взяли в сборник, все было хорошо, но вот — какой-то Роберт Белов чинит какие-то препятствия.

Раньше видел я его один раз — на базе отдыха журналистов («Эфир», Сухая Речка). Вид высокомерный, голос грубый, с ним юная девушка Наташа, кроткое существо с нежным голосом, — иллюстрация на тему «Красавица и Чудовище». Он на меня посмотрел, как солдат на вошь. Я в ответ дерзко выкатил грудь. Мы друг другу сразу не понравились. «Журналист, газетчик! — думал я про Белова. — Что он понимает в литературе! Как его пустили в составители?»

Вхожу, представился.

Белов взял со стола бумаги, вставил себе глазное стеклышко и уткнулся носом в мои буквы. Это стеклышко меня развеселило. Ну — карикатура! Чтец — слепец, автору капец.

— Вот здесь, — прогудел составитель, осторожно тронув карандашом выделенное место. И поглядел вопросительно. — Владимир Александрович, может быть, исправите?..

Место было скользкое. Я уже думал о нем: читатель может понять превратно.

— Читатель может понять превратно, — проговорил вслух Белов, озабоченно разглядывая скользкое место.

И я погрузился в размышления: может, упростить? Разжевать? Перебрал варианты, — нет, будет хуже.

— Пусть, — вздохнул я. — Пусть превратно.

— Пусть превратно, — неожиданно быстро согласился Белов.

Он не стал настаивать и на втором своем замечании, и на третьем. На пятом мне стало неловко, захотелось согласиться с ним хотя бы раз, просто из вежливости. Но я не нашел случая. Все поправки, которые мне предлагал Роберт Петрович Белов, мне не подходили категорически, и я, молча страдая, качал головой. А он все больше веселился. Ситуация ему нравилась, похоже, она ему что-то напоминала.

Лед тронулся, мать сошла, и открылся взаимный интерес. Потом дружба. Потом фильм «Пермщик Роберт Белов», — его снял Сергей Лепихин по моему сценарию. Там грешная троица: Белов, Бороздин, Финочко. Никого уже нет в живых, а фильм есть. О нем позже.

Фонд рукописей

Проблема напечататься переживалась молодыми писателями остро и обсуждалась горячо. Строили планы собственного, кооперативного издательства — в духе времени, в створе кооперативного движения в стране. Я предложил начать со сбора информации: что у кого накопилось в столе? — для составления перспективного плана будущего издательства. Объявил о создании Фонда рукописей, типа агентства, сочинил Положение и разослал приглашения коллегам — вольным писателям и поэтам, свободным от членства в СП.

Естественно, единодушия в нашей ватаге не было, и быть не могло. Больше того, мы уже наелись советским «единодушием» до оскомины. На мой призыв последовали возражения, в том числе письменные, фактически личные манифесты, любопытные документы.

Однако десять человек поддержали идею и прислали мне список произведений, готовых к печати. Кто-то нетерпеливый сразу прислал рукописи, не боясь, что сопрут. Кто-то предоставил стихи военнослужащего Мити Долматова. Кто-то предложил свои рисунки, типа – книжная графика. Получился интересный информационный бюллетень, с картинками. Я его перепечатал, оформил как надо, размножил по числу участников и разослал машинописную брошюру авторам. И еще два отправил в Пермское книжное издательство и в Союз писателей, просто затем, чтобы побеспокоить забронзовевших.

Тот бюллетень имел гордый номер – 1.

Дело в том, что у меня была завиральная идея – вырастить в Перми литературный журнал. Именно – вырастить. Я знал, как это надо делать: целевая аудитория, маркетинг – агрессивное внедрение. Но я так не хотел, рыночные технологии были мне тогда отвратительны, я задумал эксперимент: естественный процесс возделывания культуры – из одного зерна вырастить колос, из одного колоса вырастить десять, следующим урожаем засеять делянку, урожаем с делянки засеять большое поле, и так далее. Логика простая: если первый выпуск интересен, пойдут заявки читателей на второй выпуск, дальше – больше, шире. Тираж должен расти естественным путем, по моему тогдашнему убеждению, как пшеница у Робинзона Крузо.

Сказано – сделано.

Бюллетень № 2 (1990) содержал заочные интервью. Участники: Сергей Аксёнов, Вячеслав Букур, Нина Горланова, Владислав Дрожащих, Лина Кертман, Владимир Киршин, Александр Клёнов, Владимир Лаврентьев, Вячеслав Остапенко – обменялись мнениями по сорока вопросам.

Бюллетень № 3 (1991) вышел уже под эгидой новоявленного Малого литературного фонда. Там был отчет о благотворительной деятельности фонда – писательские стипендии, областной конкурс на лучшую детскую сказку (полторы сотни авторов – резонанс), проект сборника фантастики «Ретрофутур». Панорама издательской активности – семь книжных издательств работали в то время в Перми: «Урал-Пресс», «Капик», «Книжный мир», «Янус», «Акварель», Пермское книжное издательство, «Закамская сторона».

Бюллетень № 4 (1992). Добавились издательства: «Алетейя», «Арабеск» – серию «Классики пермской поэзии» открыл сборник стихов Дмитрия Долматова (сост. Виталий Кальпиди).

Что было дальше, напишу позже в своей ленте – https://t.me/kirshin_70.

Дарья Кричфалушая, Мария Лумпова

«Уйти за горизонт базовой грусти»

Диалог о феномене видеопэзии [кинопэзии]



Дарья Кричфалушая¹



Мария Лумпова²

Дарья Кричфалушая (ДК): В этом диалоге я буду говорить о феномене видеопэзии в Перми, Мария — о жанре кинопэзии в целом. Когда мы работали с Владом³ над нашей первой видеопэзией, даже когда стали кураторами конкурса «Третий глаз»⁴, ещё не догадывались о том, что Пермь занимает важное место в истории становления жанра. Именно здесь, в начале 80-х, состоялась премьера слайд-поэмы «В тени Кадриорга», уникального сопряжения визуального и поэтического в реальном времени. Тогда созданием живых слайдов занимался режиссер Павел Печёнкин, а уже позже, в XX веке, один из поэтов «теней Кадриорга», Виталий Кальпиди начнет говорить о том, что поэту не нужен режиссер и что видеопэзия должна создаваться руками автора (в том числе с помощью нейросетей). Видеопэзии, которые в этом году прошли в финал, созданы в различных расстановках сил — некоторые создавались поэтами, которые сами выступали как режиссеры, в других режиссер и поэт входили в творческий тандем, были и такие, где режиссер опирался только на свое ощущение стихотворения и понимание визуальности. Но именно сотворчество поэта и режиссера — речь идет о видеопэзии на стихотворение Ивана Муравьёва «Картинки» — привело авторов к победе. В процессе

аналитической работы, которую мы проводим на этапе конкурсного отбора вместе с судьями, мы смогли выделить ряд весьма важных критериев, являющихся фундаментальными для междисциплинарного жанра, которому посвящена данная дискуссия. Передаю слово судье первого этапа — специалисту по философии визуальности Марии Лумповой.

Мария Лумпова (МЛ): Я вижу задачу дискуссии в попытке прояснить, что представляют собой работы, которые авторы готовят для конкурсов видеопоззии. Сложность этой задачи заключается в том, что до сих пор нет единого мнения, чем должны быть подобные произведения и каков специфический язык, который требуется от конкурсантов. Я думаю, более подходящим словом для обозначения «этого» будет *кинопоззия*. Термин, казалось бы, прост. Задача тоже: создать маленький фильм, основой которого служит стихотворение. Однако кинопоззия не сводится к простому сопровождению стихотворения красивым визуальным рядом. На мой взгляд, ролики, вошедшие в десятку, а тем более в тройку, не являются ни клипами, ни рекламными роликами, ни видеоартом, ни короткометражным фильмом. И уж, конечно, конкурс видеопоззии — это не для роликов с выразительным чтением стихотворения на камеру. Взаимодействие поэтического и аудиовизуального языка требует крайне сложной архитектоники.

ДК: Я думаю, когда мы ведем речь о видеопоззии (я продолжу использовать именно это слово), важную роль здесь занимает тема перевода. Когда ты говоришь об архитектонике и связи поэтического и аудиовизуального, мне кажется, ты задеваешь самый значимый момент искусства видеопоззии. Сама по себе поэзия является в некотором смысле внимательным взглядом на Реальное, схватыванием поэтического смысла Реального и выражением этого концентрированного смысла — в концентрированном же языке. Концентрация языка в данном случае — это использование метафорического, непрямого высказывания, когда автор говорит повседневными, казалось бы, и простыми образами, которые становятся носителями метафизического значения. Кроме того, это специфическая графика стихотворного ряда, которая выражается в делении текста на строфы (что объединяет стихотворение классической формы и верлибр). Таким образом, стихотворение становится концентратом, сгущением смысла Реального — данным в сжатой форме поэтического ряда, так, что смысл становится словно бы тесно, так, что смысл пульсирует сквозь строки. Можно сказать, это главное отличие поэзии от прозы в моем представлении — *насыщенность символического и смыслового ряда*. Когда создается видеопозитическое произведение, главная ошибка, которая подстерегает режиссера — это буквальное изображение того, о чем говорится в стихотворении — в форме визуальных образов. Мы как-то смотрели видеопоззию на стихотворение Марины Цветаевой «Я стол накрыл на шестерых...», этот ролик победил в международном конкурсе видеопоззии «Видеостихия». Отличительной чертой этого видео была буквальность перевода: если в тексте героиня «опрокинула стакан», то мы видим в кадре, как опрокидывается стакан. Это было печальное зрелище — при всей насыщенности, профессиональности и красоте кадра. Печальным был и тезис организаторов: «Поэзия вечна, а кино неизбежно!»

Но вернемся к сути вопроса. Иногда говорят о «точности метафоры», но я могу сказать, что для поэтического высказывания точность метафоры заключается в её принципиальной неточности (хоть и существуют примеры злоупотребления этим тезисом). С появлением аудиовизуального языка, а если точнее — киноязыка — эта неточность удваивается и заставляет нас ещё раз преломить метафору. Означает ли это, что видеопоззия должна создавать ещё более запутанный лабиринт смыслов и стремиться к непонятности высказывания, всё более уходя в странный и завораживающий видео-арт? Отнюдь не всегда. Философ Александр Секацкий пишет, что «всякая неточность определяется по отношению к чему-то точному, которое, однако, само остается достаточно загадочным (а стало быть, и неточным)»⁵. Это высказывание работает в теме видеопоззии следующим образом: та изнанка события, пульсация события и его смысла, к которым пытается прикоснуться поэзия в языке и который пытается выразить видеопоззия — киноязыком — не может и не должна быть переводима, при этом авторы должны существовать

в интенции к горизонту переводимости. Я думаю, речь идет о сохранении автором (или авторами) методологической установки, в которой творец удерживает свое высказывание между двумя противоположными знаками — уход в полный сюрреализм визуального высказывания (тогда мы получаем чистый видеоарт, который способен быть красивым сопровождением, фоном стихотворения, но никогда не видеопоззией по существу) или же буквальность изображения знаков, как будто видеопоззия — это стихотворение, но для глухих.

МЛ: Парадоксальные отношения переводимости и вообще возможности (или невозможности) передачи Реального посредством кино, а также его связь с поэзией, берут свое начало еще в первой трети XX века. Впервые разделил кино на прозаическое и поэтическое Виктор Шкловский в 1927 году в статье «Поэзия и проза в кинематографии»⁶. В основе прозаического кино лежат законы построения фабулы и создание смысла с помощью визуального (а в наше время — аудиовизуального) нарратива. Поэтическое, наоборот, не стремится к построению фабулы, оно бессюжетно, в нем преобладает элемент формальный. Формальный — не обязательно пустой, абстрактный или бессодержательный, но этот элемент связан с ключевым для теории формалистов концептом «остранения», вырывания привычной вещи из бытового контекста. Иными словами, *вещи, ситуации или люди, показанные в поэтическом кино, должны быть увиденны будто впервые*. «Остраненные» — странные, сломанные вещи, ситуации и люди не лишены при этом и логики, просто она не укладывается в рамки само собой разумеющейся каждодневной жизни и обыденного языка предикаций. Поэтический киноязык дологичен и допредикативен или, если угодно, сверхлогичен и сверхпредикативен. Оценивая визуальный киноязык, Бела Балаш в работе «Видимый человек» 1924 года писал, что нередко именно бессодержательные и наивные кинокартины рождали ту специфическую атмосферу, которая обнаруживала в себе удивительную чувственную витальность: «Почему герой совершает то или иное действие, часто необъяснимо, но в том, как он его совершает, угадывается естественность и простота. Жизнь героя пуста, но ее минуты щедро насыщены»⁷. И если поэзия, в качестве лишь слова, сама по себе, не хочет придавать веса вещам, то кинопоэзия раскрывает за счет выразительной визуальности «специфическую атмосферу “бытийствующей” материи»⁸.

ДК: Мне нравится понятие «остранения». Кажется, это приближает нас к ответу на вопрос о сущности видеопоззии. Попробую пояснить. При буквальном переводе на киноязык, остранение вещей поэтического мира может исчезнуть. Кажется, ее очень легко спугнуть этими громоздкими движениями. Создание видеопоззии требует очень тонкой работы с открытыми системами смыслов стихотворения. Тонкость заключается здесь в том, что автор видеопоззии (режиссер или сценарист) должен пропустить стихотворение через свой субъективный поэтический опыт. Да, режиссер тоже должен быть поэтом — пускай кинопоэтом, аудиовизуальным поэтом, я не знаю, как это назвать. Вне чуткого, поэтического понимания, стихотворение может выразиться в киноязыке рядом «поэтических штампов» — из которых самые известные: бредущая по городу печальная девушка, бредущий по лесу печальный мужчина, следы на земле, слеза по щеке, в конце концов, бедный вездесущий и измученный киношниками вид природы, ведь он всегда по умолчанию поэтичен. Таких видеопоззий очень много, в том числе на нашем конкурсе, но они больше подходят под определение клипа — некое, не смысловое, а по преимуществу эстетическое, выражение настроения. Возможно, это даже неплохой ход для тех стихотворений, целью которых стоит «передать настроение». Но если это настроение хоть немного уходит за горизонт базовой грусти и становится стихотворением-ностальгией, тягой по неизведанному дому, тут же видеоряд начинает сбивать со стихотворения всю спесь — и вот уже речь идет о страдающих друг по другу мужчине и женщине. Впрочем, сам по себе ходящий грустный человек в кадре — не порок. Вопрос в том, куда и как мы его заводим. Итак, я говорю о том, что режиссер должен пережить поэтический экспириенс. Это определенно нечто большее, чем создать визуальную подложку для сопровождения читаемых слов. Иногда даже, я замечала, хорошо сотканная визуальность не только не позволяет нам заглянуть в мир



Кадр из фильма «Radiovana. Помехи» — третья серия документального цикла «Живая поэзия». 2025 год

стихотворения, но и совершенно закрывает собой последнее, оглушая его своим богатством и блеском (и смысловой нищетой). Режиссер, как и поэт, обязан придумать заново киноязык, позволяющий выразить тот странный опыт, который мы называем поэзией. В случае с работой, которая в этом году взяла главный приз конкурса «Третий глаз», мы имеем дело с глубокой смысловой включенностью авторов в высказывание. Речь идет о совместной работе авторов проекта «Живая поэзия» и мультипликатора Влада Вецвоге, в результате которой стихотворение удвоилось смыслами, но не потеряло поэтический нарратив, осталось странным, смешным и грустным, вело нас на протяжении всего визуального ряда. Я говорю о *двух семантических цепочках*: за первую несет ответственность поэт, за вторую — режиссер. Так вот, вторая семантическая цепочка — это то, что отсутствует в видео-арте (как его принято понимать, конечно). Это второе — и есть перевод стихотворения на киноязык.

МЛ: Аудиовизуальный язык в кинопоэзии сложен и работа режиссера подчас крайне трудна. Так, Пазолини в своей работе «Поэтическое кино» пишет, что и киноязык не говорит с нами прямыми указаниями. Вообще заданные формулы, где мы подразумеваем выверенную последовательность с точным значением, которые приведут к определённой реакции в кино, маловероятны. «Присутствие глубоко иррационального элемента в кинематографе неизбежно». Кинопоэзия, согласно режиссеру, являет «мир сновидений и воспоминаний». Она онейрична, инфантильна, мифологична, первобытна. Кино, согласно режиссеру, двойственно по своей природе. Пазолини отмечает, что эта двойственность состоит в том, что поэтическое проступает в виде не прямой речи через якобы прозу показываемого. Ведь реальность, видимая или проговариваемая, в которой живет человек, нагружена значениями. Окружающая действительность непрерывно показывает их, атакуя нас бесперебойно. Пазолини говорит о подпольной поэзии фильма внутри нарратива ленты, о контрабанде сакрального, о том, что проступает сквозь нарратив и освящает кажущуюся обыденность вещи, лица, ситуации.

Искусствовед Наум Клейман также отмечает эту двоякость и смещение обыденного и сакрального в поэтическом кинематографическом жесте при разборе нарративно выстроенного фильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» на примере эпизода, где командир корабля пытается расстрелять группу матросов, бунтующих из-за испорченной еды¹⁰. Режиссер показывает, как матросов перед расстрелом накрывают брезентом. Но это не соответствует реальности, пишет Клейман. Брезент клали на пол, чтобы не забрызгать его кровью. Но сам жест, который мы видим в кино, превращает в сознании зрителя обычный кусок материи — в саван, которым накрывают покойника. И наоборот, в напряженных кадрах, когда матросы

ожидают расправы, Эйзенштейн показывает кадры государственного флага, креста в руках священника и спасательного круга. Все перечисленные элементы оказываются бездейственными, обозначая символически, для зрителя, призыв о помощи на различных уровнях. И только после этого Вакулейчук резко поднимает голову и кричит: «Братья! В кого стреляешь?» После этого винтовки опускаются и командира корабля вяжут. Таким образом, мы видим обратный ход десакрализации символа креста. Распятие превращается в кусок дорогого металла в руках продажного священника, который был готов принять смерть невиновных матросов. Данный фрагмент длится всего лишь несколько насыщенных мгновений. И тем не менее, режиссер не просто говорит нам о том, что совершается бунт на корабле. Он поэтизирует момент в киноленте. Вещи (брзент, крест, флаг, спасательный круг), люди (матросы, капитан, священник) вынесены из привычного контекста.

ДК: Да, то же работает и для документального кино. Так, в документальном цикле «Живая поэзия» есть не только официальные видеопоззии – идущие сразу после каждого эпизода, но и – контрабандные. В ряде эпизодов режиссер начинает пользоваться насыщенным киноязыком, и хотя чаще всего это происходит на фоне чтения стихотворения, но и обыденные, на первый взгляд, разговоры, попадают под действие «остраненности». В эти моменты реальность преломляется и становится искусством. Обыденные вещи покидают привычную перспективу и превращаются в вещи-образы, вещи-смыслы: звуковая пушка, висящая над толпой поэтов, когда Евгений Гусев говорит, «что от людей ждать непонятно... поэтому я не читаю в автобусах», или замедленный ветер, колышущий листья, и массивные строительные краны на берегу Камы, когда Яна Полевич произносит свои строки о конце света, о том, что «черные корабли начнут поедать небо». Это смысловая, а не только эстетическая насыщенность. Даже так: это эстетическая насыщенность, которая подчинена смысловой доминанте, но опять же не прямо – когда в кадре говорят «цветок» и зритель «видит» цветок. Например, в телепродуктах красивые кадры используются именно так – в качестве «перебивок» – в них нет самоценности знака, и визуальный ряд сам по себе остается немым.

Насыщенность киноязыка – не просто карусель ярких и сочных образов, которые хаотично валяются на зрителя, как будто смысловая доминанта не требуется или режиссер надеется, что она сложится как-то сама собой, будет спровоцирована каруселью кадров. Ведь даже видеопоззия, которая реализуется как видео-арт, должна быть чувствительна к открытым системам знаков, должна брать ответственность за высказывание – то, как ты описываешь это у Эйзенштейна. Поэтому, например, новые «Тени Кадриорга», реконструированные в процессе съемок «Живой поэзии», продуманы с точки зрения смысловой доминанты, которая в каждый момент пьесы должна реализоваться в сознании зрителя – будь это скорбь, память, тоска, ужас, надежда или «прыжок веры». Услышать вот это «бормотание реальности» и есть подлинная задача режиссера видеопоззии – чтобы последняя как объект искусства состоялась в своем времени в качестве реального высказывания, не становясь при этом нарративным и плоским манифестом, а преобразилась во внутреннем мире зрителя, контрабандой проникнув туда и осветив реальность конкретного здесь и теперь. Конкретного: в Перми, в России, в 2025 году.

МЛ: Да, в любом настоящем кино есть эта насыщенность (патетический элемент, как бы выразился Эйзенштейн), которая отсылает к открытым, ветвящимся смыслам. При этом смысл не сводится к утилитарному, инструментальному означиванию и заданной коннотированности предметов. По своему существу кинопоэзия нема и слепа, когда она стремится указать нам стул, на который можно сесть, или поле, которое можно засеять, дорогу, по которой кто-то решил пройти из точки А в точку Б. Не стоит думать, что кинопоэзия показывает нам сюжет или, как пишет Сартр, будто поэт «создает фразу». Поэзия создает «слова-вещи». В работе «Что такое литература»¹¹ Сартр пишет: «вещи, обремененные сумеречной душой», «которые соединяются магическими связями соответствия и несоответствия подобно цветам и звукам, они притягивают друг друга, они друг друга отталкивают, они прожигают друг друга, и их слитность образует



В эту решающую минуту раздался гневный голос Вакулинчука: — Братья! В кого стреляете?



Прямо по брезенту - пальба!

Кадры из фильма «Броненосец «Потемкин». Режиссер Сергей Эйзенштейн. 1925 год

подлинное поэтическое единство». «Диковинные объекты» поэтического языка не ограничены простым показыванием угасаний чувств через съемки в январь месяц, а грусть через черно-белую гамму, или тучу, дождь в слезы. Вещи в поэзии обладают текучестью, сообщают нам неисчислимо много значений, которыми может вообще стать вещь. При этом речь не идет об уничтожении вещи. Стул остается стулом, брезент — брезентом, дождь дождем. Но увидеть в дожде лишь слезы, а в брезенте — кусок материала для застилки пола, означает очень сильно обеднить реальность, я бы даже сказала, вовсе не видеть ее. Об этом же говорил и Сартр. Поэтическое видение не заключается в способности видеть в цветах (подаренных розах) лишь верность. Наоборот: «мой взгляд проходит сквозь них, чтобы где-то там, за цветами, углядеть абсолютную добродетель; я забываю о них и не обращаю внимания ни на буйную кипень, ни на нежный тягучий аромат». «Слово-вещь», «образ-вещь» в поэзии показывает, наоборот, «высшую степень вещи». «Флоренция... Флоранс... Florence... На языке французов это и город, и цветок, и женщина, это и город-цветок, и город-женщина, и женщина-цветок одновременно. И еще это диковинный объект, который словно бы обладает текучестью "fleuve" — реки, слабым жаром и рыжиной "ог" — золота; в довершение всего этот диковинный объект всецело вверяется вам, но не без надлежащего "descence"— скромности, и продолжает потом до беспредельности свое подспудное распространение в непрерывном замирании конечной буквы "е"»¹².

Но важно здесь даже не это. Сартр говорит о поэтическом языке, который рождает чувство «неузнаваемое, утраченное, инородное самому себе, изодранное в клочья и все-таки не исчезнувшее». Фабульная последовательная логика движения в кинематографическом высказывании разбивается с помощью, как ты до этого верно заметила, символической и смысловой насыщенности показываемого. И эта насыщенность аудиовизуальная рождает не просто тревогу, но заставляет почувствовать то, что можно назвать судьбой происходящего. Так в «Истории теорий кино» Гуидо Аристарко цитирует итальянского критика Умберто Барбаро: «Независимо от всего, что рассказывает нам поэт, — констатирует Барбаро, — и независимо от того, каким образом он это рассказывает, независимо от "того, что означает", существует "то, что должно означать"»¹³. Оно-то и составляет подлинную сущность искусства». В своем выступлении «Что такое поэзия в кино?»¹⁴ историк кино, куратор знаменитых ретроспектив ММКФ «Социалистический авангард», Евгений Марголит говорит: «В сериале Артура Войтецкого "Волны Черного моря" есть такой эпизод: один из героев умирает, следующий кадр — в воздух взлетает чайка, и мы думаем: ага, полетела душа в рай. Но в следующем кадре в воздух взлетает целая стая чаек — и что это означает, мы уже сказать не можем! В фильме Хуциева "Бесконечность" есть маленькая сцена: женщина с младенцем на руках переходит дорогу, и больше она в фильме

не появляется. И для зрителя становится ужасно важно — перейдет она дорогу или не перейдет? Почему это так важно — сказать невозможно. Это нужно в и д е т ь»¹⁵.

Здесь мы встречаемся с событием судьбы. Но еще Фрейд сказал, что «судьба захватывает нас только потому, что могла бы стать и нашей судьбой»¹⁶. Поэтому кинопоэзия позволяет одновременно не только увидеть, как будто бы впервые, женщину или цветок и показать их судьбу, но и запустить ряд навязчивых ассоциаций из личного прошлого, приобретающих новые значения. Это переплетение внутри поэтического языка личного с тем, что стоит вне его, Сартр назвал «тайными происками судьбы». Так, сам философ, описывая поэтическое употребление слова «Флоранс» вдруг вспомнил об американской актрисе, которая играла в немых фильмах его детства: «И я о ней ничего не помню, кроме того, что фигура была у нее длинной походила на длинную бальную перчатку, а сама она была всегда чуть-чуть усталой, и всегда добродетельной, и всегда замужем, и всегда непонятной, и что я любил ее, и что звали ее Флоранс»¹⁷. Когда я читала эти строки о Флоранс, то зачем-то навязчиво прокручивала воспоминания о красной герани, которая давным-давно цвела в горшке на подоконнике. Я могу сказать об этой герани еще меньше, чем Сартр — об американской актрисе. Но там тоже замешано какое-то светлое, искреннее и наивное в своей простоте детское чувство любви.

ДК: Да, речь, пожалуй, идет о том, что неискушенные люди называют искренностью. *Искренность — чувство достаточно редкое, чаще всего за неё выдают что-то принципиально другое — искусственность.* Опять же, я объясню. Под искусственностью я понимаю тот способ высказывания в киноязыке, когда режиссер знает, что должен почувствовать зритель в момент просмотра. «Есть треугольник А, Б и С, который равен треугольнику А-прим, Б-прим, С-прим». Именно такой способ речи делает видеопозэзию невозможной. Здесь я заставляю зрителя переживать, здесь — ждать, здесь — плакать — ок, это прекрасный способ снимать нарративное, прозаическое кино (не так всё просто, конечно, но оставим это для другой беседы). Продуманность киноязыка делает высказывание плоским, лишает его связи с поэтическим миром, в котором А может быть не равно А, но роза определенно должна пахнуть розой, как её не назови. Как я вижу, подобная искренность чаще всего встречается именно в видеопозэзии, режиссером которой является сам поэт, чуткий к собственным системам смыслов. Это не отменяет возможности для «стороннего» режиссера раскрыть мир поэта в своей работе, конечно. Но я хочу привести в пример именно таких поэтов, что сами-себе-режиссёры. Речь идет о ребятах, которые заняли место в тройке на нашем фестивале в 2025 году — коллективная работа поэтического сообщества «Искусство поэзии требует слов» под названием «Радуйся». Это был гимн молодости и возможности быть, если не прочтенными, то увиденными, услышанными, посчитанными. Я помню немного — в основном черно-белые солнечные блики, проливающиеся сквозь черно-белую листву, сильные молодые тела, звонкие голоса. Как будто это видео из советского лагеря, в котором дети ещё поют песню великому и счастливому будущему. Я помню настроение, но это такое настроение, которое до этого не лежало в коллекции моих ощущений, или напомнило мне о чем-то, что невозможно ни вспомнить, ни забыть. Словом, что-то случилось со мной, как со зрителем, но не самоочевидным способом — калейдоскоп казалось бы разрозненных кадров прокатился звонким смехом, как ребенок пробежал, осталось только эхо молодости. А в 2024 году была замечательная работа поэтессы Эдеры Бакуновой, снятая на очень плохую камеру, и всё, что я помню оттуда это быстро мелькнувший кадр крестика на шее, сопровождающий печальные слова — «я тебя не обманывала в жизни / ни разу». Вот это моя герань, мой Флоранс, такие моменты.

МЛ: Полностью соглашусь с разделением на искусственность и искренность. Искренность, восторженность молодости в «Радуйся» заставляет чему-то внутри всколыхнуться, что-то такое вспомнить... Что и проговорить для себя не всегда можешь. В связи с этим нельзя не сказать об эссе Ролана Барта *Camera lucida*¹⁸. Французский философ как раз говорит о приятном ощущении при считывании контекстов в культуре и называет данный зрительский опыт *studium*.

Сам по себе этот опыт неплох. Но Барт открывает, что визуальный язык может воплощать и другое чувство, не сводимое к степени искусственности знатока и профессионала. Также есть и работы, которые вне контекста, технического исполнения, помимо того, считал ли ты коды или нет, прямо-таки укалывают тебя (*punctum*). На тебя в картинке, поэтическом произведении, строке, в ритмике, детали, образе, персонаже, даже в одном только звуке вдруг набрасывается, накатывает и ранит. *Punctum* в отличие от *stadiuma* позволяет непосредственно почувствовать, пережить, испытать некоторое «это есть», «это было». А что «было», что «есть», почему именно «это», что за «это»?... Тут уже надо допрашивать конкретных зрителей. У каждого что-то свое. Однако тут возникает еще одна сложность. Вам могут не ответить. Ибо как пишет Барт «привести примеры *punctum*'а означает некоторым образом открыть свою душу»¹⁹.

Но следует заметить, что Барт анализировал фотографию. Поэтому об опыте *punctum* философ сказал лишь в проявлении к детали (бусы на одном из снимков). У тебя — это крестик. У меня, если вернуться к конкурсантам — крокодилообразная животинка из «картинок». Но Барт отмечал, что киноязык сложнее проводимой им в эссе обработки материала. Поэтому, я думаю, можно выделить еще какой-нибудь интересный способ, которым кино могло бы говорить поэтически и который был на фестивале.

ДК: Ещё один способ киноязыка, который хочется отметить, это использование графической речи в кинопоэзии. Этим отличился в 2024 же году поэт Лев Шелиспанский, с произведением «Стрела времени», он занял 3-е место. В его экспериментах слова превращаются в образы напрямую и начинают участвовать в визуальной композиции. Вот это как раз та буквальность, против которой я ничего не имею. Буквально — буквальность. Слова оживают, словно в мире Льюиса Кэрролла и набрасываются на зрителя прямо с экрана (при этом аудиосопровождение уже не требуется), слова обретают в экране свою предметность, отныне это дикие и живые слова, дикие буквы, мир дикого языка, который не требует никакой иной визуализации кроме... буквальной. Прошлой зимой я спросила поэта Антона Бахарева, как он представляет свою идеальную видеопоззию. Антон ведь придумал, как выпустить эти «дикие слова» в мир визуальности, придумал свою «гиф-поззию», где буквы и слова играют в геометрические игры со знаками препинания и не требуют никаких дополнительных нарративов в виде трехмерного чувственного мира, который обычно задействует режиссер, снимая кино. Антон рассказал, что идеальной формой видеопоззии он видит сменяющиеся свет и тень в переплетении листьев дерева, сквозь которые проглядывает солнце. Там не должно быть голоса, читающего стихотворение (стихотворение Антона состоит только из двух, повторяющихся в разной композиции, слов «свет» и «тьень»). Зритель должен слышать только поющих птиц, а «свет» и «тьень» — читать каждый только в своей внутренней речи. Эта идея пока не воплотилась, но как будто эта история именно про то, как видеопоззия может и должна работать, создавая своими инструментами возможность преломления смысла в опыте чувствующего и сознающего Другого. Как будто, это возможность для поэта быть более понятным, при этом — не искаженным, не упрощенным, а обогащенным киноязыком.

МЛ: Я не могу не отметить, что кинопроза занимает большую долю кинопроизводства, а мы столько говорим о кинопоэзии... Пазолини считал, что чистая кинопоэзия внутри кинематографа — большая редкость. Марголит вообще утверждал, что, «может быть, гораздо продуктивнее думать о том, что такое поэзия в кино»²⁰, подразумевая под этим кино нарративное. Но ведь роман «Анна Каренина», явно насыщенный поэтическим языком, на котором говорит с нами героиня, несущаяся в седьмой главе к поезду, не отменяет стихотворения в его самоценности. А аргумент Марголита, будто Тарковский и Параджанов были плохи в построении нарративного кино, равносильна в своей претензии высказыванию «Блок, конечно, поэт замечательный, но почему он не написал ни одного романа?!» Поэтому, пусть и оставаясь на периферии крупных конкурсных фестивалей от «Золотой малины» до «Оскара», проекты наподобие «Третьего глаза» являются крайне важным фактором в развитии кинематографа в целом.

ДК: Интересный ты ставишь вопрос. Есть такая позиция в киноиндустрии, что малая форма или короткий метр представляет собой тренировочный плацдарм для большого кино. Это, конечно, особенности кинопроизводства: мастер короткой прозы может написать роман, но большое кино требует совершенно иных ресурсов чем создание короткого метра (к которому относятся и видеопоззии). Но если допустить, что мы можем не иметь в виду, материальную базу производства, то короткий метр, а уж тем более – видеопоззия – существует как совершенно особенный жанр, как я сказала в самом начале разговора, речь идет о концентрированном смысле, о повышенной художественности киноязыка. Большое нарративное кино может включать в себя вкрапления видеопоззии, наполовину быть видеопозитичным, наполовину – прозаичным (как, например, «Солярис» Тарковского), но сама видеопоззия – представляет собой всегда завершенное и целостное выражение смысла, схваченное в конкретных моментах здесь и теперь, бегущее от любой абстракции, от поэтических штампов, от пошлых метафор, от красоты кадра, от нарративности, от которой пухнет длительность произведения, а сознание теряет метафизическую нить. Это жанр, который, как мы видим, только рождается – более строгий, сложный и насыщенный, чем привычное большое кино.

МЛ: Подводя некий итог, я хотела бы сказать, что невозможно, обсуждая кинопоззию, выстроить какой-то табель с выработанными приемами кинопозитического языка. Никогда и ничего не сможет отменить интуиции поэта, режиссера, сценариста, оператора и т.д. в построении фильма. Пусть и несколько туманно, многие ролики конкурсантов опять же не упомянув, но мы с Дарьей попытались дать первоначальный абрис того, что мы ищем и ждем в работах, предоставляемых на конкурс. И наконец, описать тот феномен, который воплощается в Перми уже 7 лет благодаря фестивалю. Это язык кинопоззии.

ДК: Да, новое искусство и новый язык.

-
- ¹ Дарья Кричфалушая – поэтесса, писатель, философ, куратор всероссийского конкурса видеопоззии «Третий глаз», сценарист документального цикла «Живая поэзия», автор реконструкции видеоарта «Тени Кадриорга».
- ² Мария Лумпова – философ, специалист по философии визуальности, доцент ПГНИУ, судья всероссийского конкурса видеопоззии «Третий глаз» 2024–2025 гг.
- ³ Влад Кричфалуший – пермский режиссер, куратор всероссийского конкурса видеопоззии «Третий глаз», режиссер и сценарист документального цикла «Живая поэзия», автор реконструкции видеоарта «Тени Кадриорга».
- ⁴ Всероссийский конкурс видеопоззии «Третий глаз», проводится в Перми с 2019 года, основатель конкурса – Кирилл Поносов.
- ⁵ Секацкий А. Жертва и смысл: очерки. – Фонд содействия развитию современной литературы «Люди и книги», СПб., 2020. – 448 с.
- ⁶ Шкловский В. Б. Поэзия и проза в кинематографии // За 60 лет: Работы о кино. – М.: Искусство, 1985. – С. 35–38.
- ⁷ Балаш Б. Видимый человек: очерки драматургии фильма – М.: Всероссийский пролеткульт, 1925. – 88 с.
- ⁸ Там же.
- ⁹ Пазолини П. П. Поэтическое кино // Строение фильма – М.: Издательство «Культура»; Издательская группа «Альма Матер», 2024. – С. 263–281.
- ¹⁰ См. Клейман Н. Сергей Эйзенштейн. Кино и поэзия. URL: <https://seance.ru/articles/eisenstein-kleiman/> (дата обращения: 09.09.2025).
- ¹¹ Сартр Ж. П. Что такое литература? – М.: Издательство АСТ, 2020. – 448 с.
- ¹² Там же.
- ¹³ Аристарко Г. История теорий кино. – М., «Искусство», 1966. – 356 с.
- ¹⁴ Марголит Е. Что такое поэзия в кино? URL: <https://os.colta.ru/cinema/events/details/37489> (дата обращения: 09.09.2025).

- ¹⁵ Марголит Е. Что такое поэзия в кино? URL: <https://os.colta.ru/cinema/events/details/37489> (дата обращения: 09.09.2025).
- ¹⁶ Фрейд З. Царь Эдип и Гамлет (из книги «Толкование сновидений») // Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995. – С. 17–19.
- ¹⁷ Сартр Ж. П. Что такое литература? – М.: Издательство АСТ, 2020. – 448 с.
- ¹⁸ Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2011. – 272 с:
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ Марголит Е. Что такое поэзия в кино? URL: <https://os.colta.ru/cinema/events/details/37489> (дата обращения: 09.09.2025).

Постмодернистский зверинец

Борис Эренбург. *Бестиарий*. — Пермь: Сенатор, 2025



«Бестиарий» — не первая поэтическая книга Бориса Эренбурга. В 2008 году он опубликовал «Синдереллу» — сборник эротических (!) стихотворений, объединенный одной героиней — загадочной Синдереллой. С английского Синдерелла переводится как «золушка». Но золушка — это ведь не объект эротики, а идеальная невеста.

В «Синдерелле» автор обильно цитирует и ссылается на многих поэтов — от Катулла и Лонгфелло до Пушкина, Блока и Есенина. Заметим, скромный римлянин Катулл — основатель европейской любовной лирики, его мотивы в «Синдерелле» прослеживаются наиболее часто и в ритмике, и в интонациях.

Смысл сборника — представить образ женщины, как предмета любовного внимания поэтов, за последние 2500 лет, попутно подвергнув его пост-

модернистской деконструкции, ну или попросту обстебав:

*синдерелла ты в ответе
за торнадо и цунами
голод в африке крушение
боевого вертолета
за теракты на манежной
безобразия в зимбабве
за угон велосипеда
и раздавленную кошку
ты в ответе синдерелла
потому что только брови
ты нахмуришь как случится
непотребное несчастье
замечала так почаще
улыбайся синдерелла
чтобы в мире был порядок
и стояло всё как надо*

Поэты слишком много внимания уделяли женским чарам. Придавали женщине inferнальное мистическое и божественное звучание. Женщину превозносили, проклинали, обвиняли, видели в ней источники света, жизни тьмы, удач и неудач. Мистифицировали и обвиняли ее во всем — смертных грехах, землетрясениях, печалях и тревогах собственной жизни.

Синдерелла соблазнительна и вездесуща. Эренбург берет героиню за руку и проводит через современность — банки, покушения, литературные чтения, офисы. В сборнике вообще много сюжетов и линий.

От этого смысл книги постоянно ускользает, а главная идея теряется... Все-таки сборник стихов — это нечто цельное, а не просто набор тематических текстов.

В «Бестиарии» автор работает на грани постмодернистской пародии, иронии, стеба, высмеивания культурных штампов и клише. Книга включает 219 трехстиший, написанных на манер хокку. В каждом из них образ животного, а то и двух:

*прикинь коза
получится козленок
лихим козлом*

Написанные в разных интонациях и с разным эмоциональным посылом трехстишия являются сатирой на разнообразный мир человеческих отношений и качеств.

*разинешь пасть
и видно что за птица
ты крокодил*

Где-то автор играет и смешивает устоявшиеся понятия:

*ежу понятно
то, что непонятно
тебе и мне*

В других трехстишиях рассыпает намеки и отсылки к классике:

*козел грустит
но сердце успокоит
вишневый сад*

Или обращается к актуальным социальным темам:

*какие львы
попали за решетку
не повезло*

Классическое японское хокку направлено на воспроизведение состояния «дзэн» — просветления, мгновенной фиксации явления или события. Отсюда обязательное условие — киго — время года или время суток, пейзажная картинка. Хокку — тайное орудие буддизма, кладезь философии и медитации. В хокку важна тема застывшего мгновения, ситуации:

*О проснись проснись
Стань товарищем моим
сонный мотылек*

В этом трехстишии Басе важно конкретное переживание момента — одиночества, жажда быть товарищем хоть мотыльку, существование которого тоже мимолетно. А еще здесь тайный призыв к пробуждению: осознай себя, стань моим товарищем, чтобы с тобой было о чем поговорить!

Трехстишия Эренбурга сработаны более четко и жестко:

*мечтал осел
о доблести о славе
среди ослов*

Сатире чужда мягкость иронии и сострадания. Сатира — орудие мира социальных и культурных отношений. Читая трехстишия Эренбурга, вспоминаешь басни Лафонтена и Крылова. Они устроены по принципу — сатира плюс эзопов язык, за которым угадывается что-то человеческое и до боли знакомое.

Именно с этой точки зрения тексты Эренбурга нужно

воспринимать. Подтекст здесь кроется в деталях, в пародии на паттерны человеческих поведений. Можно подставлять в них себя или своих знакомых. При удаче такие трехстишия производят эффект ладно сработанного механизма, удачного афоризма, брошенной фразы, они метки, четки и бьют в цель.

В «Бестиарии» Эренбург проявил себя и как постмодернистского автора. Он выбирает любую форму и подставляет в нее любое содержание, экспериментирует с жанрами и соединяет несоединяемое. И открытием, которое совершил автор (и вместе с ним мы, его читатели), оказалось то, что для написания басни сегодня достаточно всего лишь трех строк. Эта книга принесет много удовольствия тем читателям, которые имеют острый язык и ум, которые не боятся смеяться над собой и другими.

Владимир Кочнев

Вытеснение детства

Евгений Ощепков. Бульвар проигравших. — Пермь: ТО «Лаборатория», 2025

Сборник стихов молодого поэта Евгения Ощепкова отличается удивительная музыкальная четкость и внятность. Стихи мелодичны, звонки, крепко и ладно срифмованы. Они построены фонетически. Звучат. Я останавливаюсь на этом, потому что сегодня, к сожалению, стихи не каждого поэта несут в себе музыку.

Это очень хрупкие, ранимые стихи молодого человека, входящего в жизнь. В них много снега, ветра, фонарей, стекла, игрушечных солдатиков, детства неба, теней и смерти — всего хрупкого, бьющегося, мгновенного и длящегося недолго.

Многие стихи начинаются с описания неба: «Прямо из подъезда в небо закопа-

ют», «Открою небо, обернусь и выйду», «Надо небо вдыхать», «В огромном и холодном январе над фонарями замолчали звезды», «Ты коснулся осеннего неба», «Где клин журавлей ищет угол у неба», «Папа, я летчиком буду, я крыши с неба увижу». Словно лирический герой только что пришел с неба в этот мир и теперь оглядывается вокруг, еще не забыв, откуда пришел,



не потеряв этой пронзительности и небесности, сохранив память небытия или инобытия.

Стихи молодых поэтов вообще крайне пронзительны, в них много игрушек, игрушечного, которое внезапно оживает. Это соединение неживой и живой природы, одухотворение поделок, было и у ранних стихов Осипа Мандельштама, поэта, который так же тревожно и медленно переживал переход из детства во взрослую жизнь:

*Сусальным золотом горят
В лесах рождественские ёлки,
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.*

И это осознание, что игрушки (а у детей они живые) стали вдруг мертвыми, — есть вытесненное понимание того, детство умирает и человек попадает в новый мир, где он пронзительно одинок. У Поплавского — первого русскоязычного поэта-сюрреалиста, который вынужден был в силу специфики направления творчества и психотипа пронести детство до смерти, это тоже есть:

*Гаснет пламя ёлки, тихо в зале.
В тёмной детской спит герой
умаясь.*

*А с карниза красными глазами
Неподвижно смотрит
снежный заяц.*

Мне кажется, хорошо открывает замысел сборника стихов Ощепкова вот это стихотворение:

*Открою небо, обернусь и выйду
в зенит, орбиту, грунт,
в огромный снег,
чтоб детство в рваной майке
стало видно:
тогда ожившим пульсом
по спине
нательный крестик прыгал
постоянно,
а я бежал по тени и жалел
о том, что мёртв солдатик
оловянный
и балерина на пустом столе.*

*Открою землю — выйдет
тишина.
В ней за стеклом витрины
манекен
проснётся и не вспомнит
про меня,
когда-то отражённого в реке,
где небо видно ночью, видно
днём,
а я расту до осени травой,
до пьедестала, до конфет
на нём.
Открою дверь, и нету никого.*

Человек из детства следует во взрослую жизнь, буквально выходит в нее, но (пока?) не обнаруживает там ничего. Предметы детства, блаженного привычного прошлого (балерина и оловянный солдатик) оказываются здесь мертвыми и пустыми. Небо и детство в рваной майке, заявленное в первой строфе, оборачивается во второй «манекеном

за стеклом витрины» (мертвым подобием живого человека), забвением («не вспомнит про меня») и отражением, то есть миром искусственным и фальшивым. И показательна последняя строчка: «Открою дверь, и нету никого».

Стихотворение напоминает текст Гандлевского «Я был зверьком на тонкой пуповине», лирический герой которого, перейдя из детства в отрочество, не обнаруживает ничего, достойного интереса в мире взрослых:

*Я выхожу на школьное
крыльцо.
Пять диких чувств сливаются
в шестое.
Январский воздух — лезвием
насквозь.
Держу в руках, чтоб в снег
не пролилось,
Грядущей жизни зеркало
пустое.*

Стихи Ощепкова резонируют со стихами таких авторов, как Мария Маркова (у нее тема рефлексии по детскому прошлому, отражающемуся в настоящем, одна из основных) и Натой Сучковой (для которой тема детства, школьной жизни одна из важнейших). С этой точки зрения сборник легко раскрывается. К теме детства легко относятся такие стихи, как «Дети века», «Легкое дыхание», «Комната в колючей мишуре» и др.

Возможно, набор жизненных впечатлений у Ощепкова закономерно ограничен. В его стихах много города — плацев, этажей, больничных и других зданий, крыш и прочей урбанистики. Пространство в стихах, их

реальный, вещественный мир сделан надежно и плотно в духе поэзии новой искренности.

Есть у Ощепкова интонации некоторых советских поэтов и Бориса Рыжего. Однако его язык современен: подтекст, плотность образов, лексические обороты — современные. Есть тема смерти, но молодые поэты вообще часто пишут о смерти, потому что ее не боятся. Как написал один классик, чтобы бояться смерти, надо привыкнуть к жизни, а двадцатилетние к ней еще не успели привыкнуть.

Автор «Бульвара проигравших» еще ищет свой почерк, нащупывает свои темы, медленно подбирает пальцами аккорды возможных поэтических интонаций. Название для первой книги выбрано не самое оптимистичное. Меня, как читателя, напугало количество литературных мертвецов, чьи фотографии размещены в книге: Рыжий, Долматов, Асланьян, Решетов. И тут есть некий парадокс: входить в литературу, будучи молодым автором, и помещать в первый же сборник фотографии ушедших рано и не очень авторов. Фотографии, заметим, сделаны в таком несколько брутальном стиле...

Литературоцентричность — еще одна линия книги. Кроме посвящений близких по малой родине авторов, в стихах еще есть и Ахматова (ей посвящен единственный в книге верлибр), и Пушкин (также, в общем настроении сборника, умирающий). Умирают в стихах Ощепкова вообще часто, его лирический герой торопится уйти, исчезнуть или быть поглощенным чем-то.

Заметим, что следы рыжевской ноты, советской поэзии и неоканонизма не единственные в творчестве Ощепкова. Некоторые тексты кажутся настолько сложными, что представляют собой единую систему, когда образы неотъемлемо перетекают один в другой, расширяя значения, являя собой метафоры или метаболу. Вот одно из любопытнейших стихотворений, в котором затрагивается тема религии:

*Когда в апреле вербы зацвели —
пришёл не Сын, а снег
вернулся в город.
И небо наклонилось до земли
за словом, вырастающим
из горла,
про снег, круживший
на кресте Креста,*

*летающий вниз, во взглядах
наклонённый.
И перестал; лежал
как береста
кочек земли — то белый,
серый, черный.
Глотали неба высь колокола,
их медная и медленная песня,
как немота по воздуху плыла,
как снег, который всё-таки
воскреснет.*

За простым значением — более сложное. Снег становится Сыном (Христом), заменяет его, воскресает. Стихия вечно воскресающей природы сливается с божественной категорией христианства и еще со словом, вырастающим из горла (вспомним: «Сначала было слово»). Это стихотворение, которое можно было отнести к направлению «метаметафоризм».

В тоненькой дебютной книжке на 60 страниц есть что почитать, есть где пережить эстетическое удовольствие, катарсис, ужас, восторг, порадоваться за автора, подумать, обнаружить разные параллели и реминисценции. Мне же интересно будет посмотреть, какие стихи поэт напишет к следующему сборнику.

Владимир Кочнев

Вселенское и родное

Казарин Ю. В. Призрак речи. — Екатеринбург: «несовременник». 2025

Новая книга Юрия Казарина устроена неожиданно: три объёмных нерифмованных текста на контрасте с силлаботоникой. Просодически, интенциональ-

но, смыслово всё в «Призраке речи» держится на одной высоте, а по-другому у Казарина и не может быть. Но контраст форм позволяет, например,

проблематизировать вопрос о жанре поэтической миниатюры, раскрыть её не столько даже как жанр, сколько как феномен. Так, нерифмованное



высказывание под названием «Конспект стихотворения» занимает в книге четыре с половиной страницы, в то время как сами стихотворения — от 4 до 19 строк: «конспект» в разы объёмнее, и такое может быть, наверное, только в случае поэзии: миниатюру больше некуда сжимать — она и так предельна. Прозаические вещи Казарина — это как будто распружиненные миниатюры: та же стержневая — метафизическая — основа при большем словесном материале. Если регулярные стихи оставляют ощущение вдруг — внезапно! — уловленного невыразимого, то «вольные стихотворения» словно рождены из стремления это невыразимое уловить: не факт, а именно процесс его уловления. Отсюда так много повторов — лексических и корневых: каждое повторяющееся слово читается как открытие единственной правды, первоистины — о Вселенной и человеке.

Человек и Вселенная: в книге «Призраки речи» эти категории — главные. Есть ещё одна категория — главнейшая, причём главнейшая для Казарина всегда: поэзия. Поэтому в каждом тексте, кроме метафизического, важно ещё и метаязыковое

измерение. Разговор на языке поэзии — это разговор о поэзии, о её существовании и веществе, о том, что есть (и соответственно — что не есть) поэзия. Казарин каждым текстом — снова и снова — показывает, что есть поэзия, являет её: стихотворение словно зеркало Вселенной, отражающее зримое и незримое. Здесь говорящий субъект — это проводник, медиатор, переводящий с языка птичьего, небесного, с языка Вселенной — не то чтобы не человеческого, а надчеловеческого — на словесный язык: «Не весна. Но с небес достаёт: / что-то всхлипывает и поёт — / это первые призраки речи».

Миниатюра Казарина строится вокруг одного или двух (как правило, не больше) понятий. Они и есть базовые элементы Вселенной: вода (варианты — река, дождь, слеза, озеро, ручей, пруд, роса), земля (варианты — глина, песок), снег (вариант — сугробы, град, метель, иней), лёд, огонь, небо, звезды, созвездия (вариант — Кассиопея), трава/растенье (варианты — осока, ковыль, лебеда), лес (вариант — ельник), дерево (варианты — берёза, ива, сосна), птица (варианты — синица, береговушка, снегирь, воронья, утки, гоголь, воробьи). Эти понятия могут срашиваться, соединяться в метафору: «голубь воды», «растения звезд». Поэтический язык Казарина полностью состоит из простых, даже «затёртых» слов, но они обретают сакральное значение и звучание.

Юрий Казарин выводит привычные слова из автоматизма восприятия, не только встраивая их в метафорические,

остраненные словесные ряды, но и употребляя их как имена собственные. Любые понятия — и родовые, и видовые — читаются как имена. «Одушевленно все», — поэтому любое слово — имя: художественный мир в книге «Призраки речи» состоит не из реалий, не из категорий, а именно из существ. Природное пространство безлюдно, но при этом всё присутствующее в нем тоже создано по Господнему образу и подобию, отсюда — густая антропоморфная образность: глаза воды, глаза неба, ресницы воды, зрачок воды, рука реки, вишни губа, неба бровь, дерева кулак, обручальное кольцо озера. Такое миропонимание восходит к пантеизму, к язычеству: это как будто бы и есть подлинное миропонимание, путь к гармонии — по крайней мере, такая интенция в стихах Казарина всегда считывается.

Одна из повторяющихся синтаксических структур в стихотворениях новой книги связана с характером субъектно-объектных отношений внутри Вселенной: природа самодостаточна. На уровне языка — акцент на категории возвратности: «вода в воде, сама собой / — вода обнимется с водой», «...и первый снег летит, / в себя, в себя летит...», «Река / затекает в себя», «И собой до небес полна / глубина», «небо стоит в реке, / отражаясь в себе», «овчинный одуванчик в полушубке / стоит в себе», «Глядит в себя сквозь небо озерцо». Природе достаточно себя, достаточно своих границ. А вот лирическому герою своих границ — недостаточно.

Лирический герой связан со всем живым, открыт ему, через эту связь в него и входит жизнь — через зрительные, осязательные, обонятельные, вкусовые ощущения («Ты кладешь ладонь на поверхность прежнего неба — и она не отрывается от пленки жизни, слуха, зрения, обоняния, вкуса и прикосновения»). В «Призраке речи» много сенсорики: мир воспринят человеком через органы чувств, через телесную органику: от телесности — к метафизике. От предметности — тоже к метафизике. Сам физический мир у Казарина метафизичен.

Смерти во Вселенной нет — философия Казарина строится на отказе от самой идеи смерти, небытия, конца: «Смерти нет потому, что нежизнь — живая. Живая по-иному». Здесь же отметим, что понятия, традиционно имеющие отрицательную семантику («пустота», «холод»), в художественной системе Казарина переосмысляются: через эти понятия раскрывается представление о вечности, свободе, космосе, красоте.

Каждая встреча с существами, населяющими Вселенную («Вселенная» от «вселять»), — птицами, звездами, деревьями — большое событие: «И зазимовавшийся потолстевший зяблик, и седоватый, величественный в красоте своей неимоверный щегол подпускают тебя к себе на расстояние слезы». Нахождение рядом с ними — это взаимодействие (напрямую)

с самой Вселенной: она в них явлена, в них отражена. Человек у Казарина сделал почти невероятное — он впустил в себя мироздание, его кровь смешана с кровью «света и тьмы».

В книге — почти в одинаковом соотношении — представлены две формы: «я» и «ты». Понятно, что «ты» = лирическое «я»: разговор с самим собой. Но всё-таки важно и обобщенно-личное звучание формы «ты»: читатель словно сам оказывается в позиции героя: всё происходящее в «Призраке речи» как будто бы происходит с тобой, читателем: это ты «выходишь из деревянного дома — в снег, на снег, в холод, в нижнее небо, похолодевшее к зиме». Это ты «стоишь на серебряной льдине, / слушая Господа стук / в трещинах тесных разлук». Это ты «аутист» и «орнитолог», это в тебе просыпаются «первые призраки речи». Преображение — вот что происходит с тобой, вдохнувшим воздуха Вселенной, вдохнувшим воздуха поэзии.

Деревня — центральный locus в поэзии Юрия Казарина — космична. Удивительно, что, взяв за основу топос, связанный с представлением о компактности, территориальной ограниченности, поэт расширил его до размеров Вселенной. Понятие деревни не имеет у Казарина социальной коннотации: его деревня безлюдна, она стоит в стороне от социума. Она абстрактна: это совсем не тип

поселения, а модель мироздания. Это пространство, не знающее цивилизации, не знающее цифровизации, не знающее политизации, как будто вообще не знающее человеческого следа: сама Вселенная в своей первозданности — в живом космическом холоде творения, в «родительной» пустоте, в абсолютной красоте. Редкие приметы человеческого: ведро, лодка, деревянный дом — почти природны, в них проступает не цивилизация, а та же Вселенная, та же жизнь: «...ведро...ты не сешь к колодцу — легкое всей Вселенной».

При всём при этом так удивительно (или закономерно?), что, уводя свой мир подальше от социального, индустриального, актуального, Казарин раскрывает в нём национальное. Стихи об устройстве Вселенной читаются как стихи о России. Так в принципе работает весь образный ряд, природный код. Россия становится отдельной темой: «...звуки русские, густые — ледовитый валидол», «...письмо — себе, Анастасии / и снегу, павшему в России, / где мы на соснах припасли / Кассиопеи пепел белый». Кассиопея и Россия — верхнее небо и нижнее небо — соотнесены здесь в том числе и фонетически.

Книга «Призрак речи» — про вселенское и родное: вселенское, ставшее родным; родное, ставшее вселенским.

Ирина Кадочникова

Павел Автоменко-Прайс родился в 2001 году в Перми. Публиковался в журналах и зинах: «журнал на коленке», «Русский Пионер», портале «полутона». Стихотворения переводились на английский и французский языки. Редактор отдела переводов в альманахе «ХИЖА». Живет в Перми.

Виталий Аширов родился в 1982 году в Перми. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковался в журналах «Волга», «Нева», Homo Legens, «Урал», «Крещатик», «Зеркало», на онлайн-ресурсах «Текстура», «Литература», «Полутона», «Топос» и др. Автор книги «Скорбящий киборг» (2019). Живет в Перми.

Владимир Бекметьев родился в 1991 году в г. Кизел Пермской области. Окончил философско-социологический факультет Пермского национального исследовательского университета. Публиковался в журналах «Вещь», «Русский Гулливер», «Stenogramе», «Полутона». Автор поэтической книги «Недужный падеж» (2017). Живет в Перми.

Даниил Буланкин родился в 1998 году в Перми. Окончил филологический факультет Пермского национального исследовательского университета, магистр литературоведения. Публиковался в литературном журнале «Легенда» и поэтическом сборнике «Литквадрат». Живет в Перми.

Антон Васецкий родился в 1983 году в Екатеринбурге. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Публиковался в журналах «Урал», «Волга», «Сибирские огни», Homo Legens, «Дружба народов», «Октябрь». Участник Антологии современной уральской поэзии (2004–2011). Автор трех книг стихов: «Стежки» (2005), «Монтаж все исправит» (2018) и «Пользовательский опыт» (2025). Живет в Москве.

Барбара Гест (1920–2006) – классик американской поэзии XX века, одна из центральных фигур Нью-Йоркской школы. Выросла в Калифорнии и после нескольких десятилетий в Нью-Йорке вернулась в Беркли. Автор более 20 поэтических сборников. Выступала в соавторстве с художниками и работала в жанре арт-критики. Автор «анти-нарративного» романа *Seeking Air* (1997) и биографии модернистской поэтессы *Herself Defined: HD and Her World* (1984). «Американское поэтическое общество» отметило её медалью Роберта Фроста за выдающиеся достижения (1999).

Евгения Гордина родилась в 1976 году в Потсдаме (ГДР). Окончила филологический факультет Пермского университета. Литературный дебют состоялся в журнале «Вещь». Живет в Перми.

Мария Гресева родилась в 1998 году в Перми. Училась на философско-социологическом факультете Пермского национального исследовательского университета. Ранее не публиковалась. Живет в Перми.

Николай Звягинцев родился в 1967 году в Московской области. Окончил Московский архитектурный институт. Публиковался в журналах «Воздух», «Новый мир», «Новое литературное обозрение», «Знамя», Homo Legens, «Парадигма», «Волга», альманахах «Вавилон», «Авторник». Стихи переведены на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, румынский, эстонский и украинский языки. Автор семи поэтических книг (и ещё одной в соавторстве). Живет в Москве.

Владимир Киришин родился 25 февраля 1955 года в городе Ваймар (ГДР). Окончил Пермский политехнический институт по специальности инженер-электрик. Автор 12 книг прозы. Живет в Перми.

Дарья Кричфалушая родилась в 1987 году в городе Березники Пермской области. Окончила философский факультет Пермского государственного университета. Защитила кандидатскую диссертацию по истории философии. Работает доцентом на кафедре философии и права в ПНИПУ. Сценарист документального цикла «Живая поэзия». Первая поэтическая и прозаическая публикации – в журнале «Вещь». Живет в Перми.

Сергей Крюков родился в Перми в 1970 году. Окончил факультет теории и истории искусств Санкт-Петербургской академии художеств. Автор поэтического сборника «Граница дня» (1997). Публиковался в литературных журналах «Арион», «Вещь». Член Союза художников России. Живет в Перми.

Мария Лумпова родилась в 1993 году в Перми. Окончила аспирантуру философско-социологического факультета ПГНИУ. Специалист по библиотечно-выставочной работе в ФБ ПГГПУ. Автор ряда статей по философии визуальности в рецензируемых научных изданиях. Живет в Перми.

Любовь Соколова родилась в 1960 году в Перми. Окончила электротехнический факультет Пермского политехнического института. Автор книги прозы «Записки взрослой женщины» (2016) и романа «Последние» (2017). Живет в Болгарии.

Александр Фролов родился в 1981 году в городе Ровеньки Луганской области. Окончил Донецкий национальный университет по специальности «переводчик английского языка». Публиковался в вестнике современного искусства «Цирк «Олимп»+TV», арт-дайджесте «Солонеба», журналах «TextOnly», «Литература», «Флаги», «Воздух», «Всеализм» и др. Автор книг стихов «Гранулы» (2018), «Внутри точки» (2020) и прозы «Интуитивные страницы» (2025). Переводчик американской поэзии: Кларка Кулиджа, Рейчел Блау ДюПлесси, Лесли Скалапино, Барбары Гест, Роберта Крили, Роберта Данкена, Боба Перельмана, Шейлы Мёрфи, Джены Осман, Энн Лаутербах и Джона Эшбери. Живет в Ростове-на-Дону.

Кирилл Шубин родился в 2001 году в г. Лысьва Пермского края. Окончил филологический факультет МГУ. Публиковался на порталах «Флаги», «Прочтение», «Формаслов», «Всеализм». Живёт в Москве.

Джон Эшбери (1927–2017) – американский поэт, художественный критик, педагог. Окончил Гарвард, учился в Нью-Йоркском и Колумбийском университетах. С 1955 года, получив Фулбрайтскую стипендию, жил во Франции. Вернувшись в 1965 году в США, выступал как художественный критик. Участвовал в поэтических чтениях, организованных Энди Уорхолом. Преподавал словесность в различных колледжах США. Авангардистская поэзия Эшбери, обычно причисляемого критиками к нью-йоркской школе, сложилась в поле влияния Одена, Стивенса, французских сюрреалистов, а также американского художественного авангарда (Дж. Кейдж, Э. Уорхол и др.). Лауреат наиболее авторитетных в США Национальной книжной и Пулитцеровской премий.

Вещь: Литературный журнал. – Пермь: Издательство «Сенатор», 2025. – 126 стр.

Редактор:
Павел Чечёткин

Выпускающий редактор:
Юрий Куроптев

Дизайн обложки:
Иван Моисеенко

Верстка, дизайн:
Евгения Тесленко

Корректор:
Наталья Семукова

Иллюстрации на обложке и стр. 3, 6, 9, 25, 30, 33, 37, 59, 71, 75, 80, 92 Анастасии Литецких

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу:
e-mail: senator.perm@gmail.com

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Тираж 200 экз.

Адрес редакции:
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 21
Тел. (342) 212-32-17
e-mail: senator.perm@gmail.com

18+

Проект осуществлен при поддержке Министерства культуры Пермского края

© «Вещь», 2025
© Авторы, 2025
© Издательство «Сенатор», 2025

